

ОБЪЕЗЖАЙТЕ  
НА ДОРОГАХ СБИТЫХ  
КОШЕК И СОБАК



АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ  
ВАЙНЕРЫ

PREMIUM

Азбука Premium. Русская проза

Георгий Вайнер

**Объезжайте на дорогах  
сбитых кошек и собак**

«Азбука-Аттикус»

1986, 1970, 1988

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

## **Вайнер Г. А.**

Объезжайте на дорогах сбитых кошек и собак / Г. А. Вайнер — «Азбука-Аттикус», 1986, 1970, 1988 — (Азбука Premium. Русская проза)

ISBN 978-5-389-20938-1

Аркадий и Георгий Вайнеры – признанные мастера детективного жанра. В их произведениях, с одной стороны, всегда присутствует увлекательный, лихо закрученный сюжет, с другой – поднимаются сложные психологические и этические проблемы. Всегда ли уголовно наказуема подлость? Всегда ли можно противостоять власти денег? Почему люди порой добровольно ломают себе судьбы? В сборник вошли повести «Объезжайте на дорогах сбитых кошек и собак» (фильм «Потерпевшие претензий не имеют», 1986), «Двое среди людей» (1970), «Женитьба Стратонова, или Сентиментальное путешествие невесты к жениху» (1988).

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-20938-1

© Вайнер Г. А., 1986, 1970, 1988

© Азбука-Аттикус, 1986, 1970, 1988

# Содержание

Объезжайте на дорогах сбитых кошек и собак	6
Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	13
Глава 4	17
Глава 5	20
Глава 6	24
Глава 7	29
Глава 8	32
Глава 9	38
Глава 10	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# **Аркадий и Георгий Вайнеры Объезжайте на дорогах сбитых кошек и собак**

© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер (наследники), 1970, 1986, 1988

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

# Объезжайте на дорогах сбитых кошек и собак

## Глава 1

Когда «Волга» с резиновым визгом срезала последний поворот и справа мелькнула фанерная стрела «Аэропорт „Семигорье“», я поймал себя на недостойном занятии: сидел и сосредоточенно считал, сколько дать таксисту на чай. Краешком глаза я внимательно следил за окошком таксометра, в котором неумоимо и очень споро вылетали черненькие цифирьки, и, рассеянно выслушивая наказания Лилы, все время прикидывал, как будет здорово, если таксист, затормозив машину, выщелкнет счетчиком рублей шесть с мелкими копеечками. Тогда можно дать семь рублей и, легким кивком отклонив сдачу, проявить себя бывалым потребителем таксомоторных услуг, закоренелым пассажиром самого удобного и быстрого вида городского транспорта.

...На крыше похилившегося двухэтажного дома против окон моего кабинета с наступлением вечерних сумерек вспыхивает красно-синим воспаленным светом движущаяся цветная реклама:

### ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ТАКСИ – САМОГО БЫСТРОГО И УДОБНОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА.

К ночи, когда дела кончаются, я подолгу сижу на подоконнике, лениво покуриваю, дышу остывающим пыльным воздухом улицы, пропитанным бензиновой гарью и медвяным духом тополиной листвы. И тогда над глохнущим рокотом автомобилей и стихающим шарканьем подошв начинают негромко вызванивать и гудеть тонкие трубочки рекламы такси, стеклянные прозрачные капилляры, по которым сполошно мечутся разноцветные газовые разряды, немые яростные вспышки, бесплодно призывающие меня воспользоваться услугами самого быстрого и удобного вида городского транспорта.

Некуда мне ездить на такси – я работаю в десяти минутах ходьбы от дома. Куда мне ехать?

Я только смотрю на этот бессмысленный призыв, смотрю, как в детскую игрушку калейдоскоп – картонный цилиндр, на дне которого возникает масса ярких причудливых фигур, смотрю на сложенный из светящихся неоновых линий силуэт такси, у которого стремительно крутятся колеса, головокруглительно быстро, неостановимо и всегда на одном месте.

Иногда мне кажется, что этот неподвижно мчащийся автомобильчик – символ моей жизни. В такие минуты я точно знаю, что если бы однажды утром черный трубчатый силуэт машины вырвался из тенет рекламы, умчавшись неведомо куда, то и моя жизнь решительно изменилась бы каким-то непостижимым образом.

Но он всегда на крыше маленького дома напротив. Всегда терпеливо ждет вечера, чтобы вспыхнуть в густеющей темноте судорожным светом переполняющих его раскаленных газов и устремиться в бесцельный азарт призрачной погони...

Таксист остановил «Волгу» у ступенек аэровокзала, с хрустом повернул ручку таксометра, и в окошечке кассы выскочила сумма – 6 рублей 74 копейки. Потом нажал кнопку радиотелефона и вызвал диспетчера:

– Тридцать первый говорит, из аэропорта...

Я достал кошелек и стал отсчитывать деньги, понимая, как трудно мне будет выглядеть достойным пассажиром перед лицом такого замечательного таксиста, славного труженика на ниве обслуживания населения. Даже если я нацеплю на себя два таких джинсовых костюма

«левис», сплошь обшитых фирменными этикетками, «лейблами», навешу все эти браслеты и цепочки и отращу такой же длинный серый ноготь на мизинце, все равно мне не выказать и половины его величия, чуть-чуть смягченного равнодушно-ленивым презрением.

Диспетчерша сипло попискивала в динамике радиотелефона: «Тридцать первый, вызов на поселок Иноземцева...», я отсчитывал двугривенные сверх семи рублей, а таксист смотрел в окно, повернув ко мне широкую спину, и вся эта необъятная спина выражала снисходительное пренебрежение ко мне, к моему польскому серенькому плащику, к моей мелочи с анекдотически абстрактным названием «на чай», к Лиле, не обращающей на него ни малейшего внимания и полностью погруженной в мир предотъездных хозяйственно-бытовых наказов и поручений.

Он меня не уважал. А я себя ненавидел за то, что ерзал и смущался перед этим нарядным молодым жлобом. Я понимал, что традиционные чаевые – вовсе не благодарная плата за любезную и своевременную услугу, а дань моему трусливому конформизму, я ведь сам весело смеюсь над печатными плакатиками в парикмахерских: «Чаевые унижают человеческое достоинство». Уж если и унижают чье-то достоинство, то только мое – откровенным презрением ко мне и моим копейкам. Но, дай я ему на чай десятку, он бы меня занеуважал еще больше! Вот мне и интересно знать – почему?

Почему, из-за чего он так поднебесно воспарил надо мной? Что бы мне надо было совершить, каким стать, чтобы он меня зауважал? Может быть, он своей прекрасной спиной, затянутой в фирмовую джинсу, выражал не свое личное отношение ко мне, а демонстрировал идею? Идею о том, что люди вроде нас с Лилой должны ездить на автобусе, а не поднимать такого неслыханного красавца спозаранку, чтобы тащиться с нами в аэропорт?

Не знаю, может быть, он прав. Мне ведь никогда не придет в голову, доехав до своей остановки, дать водителю автобуса гривенник на чай.

Лиля любит повторять: «Ты рефлекслируешь и комплексуешь из-за всяких глупостей и пустяков». Наверное. Но в детстве я был уверен, что мелочными людьми называют тех, кто тщательно считает мелочь.

– Ты не заснул? – легонько толкнула меня в плечо Лиля.

– Нет, я задумался о глупостях и пустяках. О мелочи и мелочах. – И протянул таксисту деньги, а он по-прежнему сидел ко мне спиной, как бы объясняя, что не надо беспокоить его глупостями и пустяками, а следует положить свою мелочь в ящичек между сиденьями. И тут я наконец дошел до нужной кондиции и открыл рот, чтобы сказать пару слов этому ражому нахалюге.

Но, конечно, не успел. Потому что Лиля едким, скрипучим голосом, который у нее появляется только в моменты, когда ей кажется, что меня просто необходимо защитить от происков враждебного мира, сказала:

– Слушайте, вы, водитель! С вами разговаривает ваш клиент, человек во всех отношениях старше и достойнее вас! Потрудитесь получить по счетчику, поблагодарить, а потом выйдите, пожалуйста, из машины и достаньте мой чемодан. После чего можете уезжать, предварительно попрощавшись...

Видимо, пятнадцать совместно прожитых лет даром не проходят. Муж и жена – одна сатана. Она абсолютно точно знает, о чем я думаю. Всегда. Кстати, это довольно прочный залог моей супружеской верности.

Таксист послушно вынул чемодан из багажника, но снисходительность исчезла из его презрения, и ее заместило плохо скрываемое раздражение. Лиля нравоучительно сообщила ему:

– Запомните, молодой человек – да-да, поскольку вы еще довольно молоды: не место красит человека, а человек место. А коли вам не нравится возить людей, идите в академики, там вас наверняка ждут с нетерпением.

– Вас забыл спросить, куда идти... – буркнул под нос таксист, сорвал машину с места и помчался к стоянке.

– Пошли? – спросила Лиля. И голос у нее был не скрипучий и не едкий.

– Пошли, прокурор, – сказал я и подхватил с тротуара чемодан.

– Я помпрокурора, – засмеялась Лиля. – А точнее говоря, помследователя. Помощник старшего следователя семигорской прокуратуры.

– Иногда я думаю, что ты на моем месте лучше бы управлялась...

– Ничего, я и на своем неплохо управляюсь.

– Чего ж тебя посылают в институт усовершенствования? Если неплохо управляешься?

– Предела совершенству нет. Тем более что главврач наш долго объяснял, какие надежды возлагаются на меня в клинике, а закончил загадочной сентенцией: глупый любит учиться, а умный любит учить. Ты как думаешь, что он имел в виду?

– Не что, а кого. Надо полагать, он умеет учить, а тебя посылает учиться.

– Но я не люблю учиться. Я люблю вечерами, когда Маратик уже спит, сидеть на кухне и дожидаться тебя. Смешно, что во всех книгах и в кино жены следователей и сыщиков всегда скандалят и разводятся со своими мужьями из-за того, что те поздно приходят домой и никогда не получается поездка в отпуск. Чушь, а? Мы ведь с тобой всегда вместе ездили в отпуск?

– Кажется, всегда. Может быть, потому, что мне всегда дают путевку в несезонное время? В ноябре. Или в апреле.

– А какая разница? Разве нам было плохо?

– Нет, нам всегда было прекрасно. Но я не думаю, что нам было бы хуже в августе на Пицунде или в Дагомысе, кабы я мог достать путевку...

– Наверное. Разве дело в том, что ты не можешь? Ты ведь никогда ничего принципиально не достаешь...

– Да-а? – удивился я и спросил на всякий случай: – Это комплимент или упрек?

– Это факт нашей с тобой биографии.

– Жалеешь себя?

– Нет, – качнула она головой. – В моем отношении к тебе есть что-то ненормальное: нельзя ведь пятнадцать лет любить такого недотепу. А? Ты как думаешь?

– Думаю, что можно. Но, наверное, неохота...

Всепроникающее, неразборчиво гудящее радио заголосило на весь аэропорт:

– ...Посадка на триста сорок второй рейс производится... Регистрация заканчивается...

Лиля крепко взяла меня за руку:

– Не ходи дальше... Я ненавижу прощаться с тобой...

– Только на два месяца, – натянуто улыбнулся я и постарался пошутить: – Вот усовершенствуешься в Москве – и сразу домой...

– Я ненавижу прощаться с тобой... – не слушая, повторила Лиля. – Я, как собака, прощаюсь навсегда... Я боюсь больше не увидеть тебя...

Вышел на площадь и увидел, что уже совсем рассвело. День занимался нехороший, с ветром и изморосью. Поднял воротник плаща и направился к автобусной остановке. Через час я буду на службе, можно кое-что успеть, пока все соберутся. Сегодня хлопотный день: Петю Верещагина переводят с большим повышением – прокурором в Октябрьский район, женщины наши устраивают проводы.

Петр – человек многих редких качеств. Иногда мне кажется, что Господь Бог закинул его на нашу хмурую землю для возбуждения массовой зависти в других мужиках. Петьку любят все: тюремная охрана, женщины, сослуживцы и начальство. Он такой миляга, что, по-моему, даже подследственным хочется ему в чем-нибудь сознаться.

Я ему тоже маленько завидую, без злобы, по-хорошему. Не его успехам, а ему самому: случается ведь так, что природа на семерых копила, а одному все отвалила. Всеобщая симпатия к нему заслужена им и добротной отработана. Начальство любит его справедливо, не как подхалима и тонкого ловчику, а как энергичного, напористого работника, быстрого, умного и точного. Сослуживцы – за то, что он хороший товарищ, весельчак и бессребреник. А женщины независимо от возраста, образования и служебного положения видят в нем свой потаенный идеал – или сына, или мужа, или любовника.

К сожалению, его не любит Лиля. Как-то я спросил ее: почему? Она засмеялась и ответила довольно уклончиво:

– Если бы мне нравились такие мужики, я бы не вышла за тебя замуж...

Я хотел дожидаться, пока взлетит самолет. Аэробус, серебряный толстобокый кит, тяжело ползал по рулежным дорожкам, неуклюже развернулся, медленно уехал в другой конец поля. И, глядя на его задышливое тучное тулово, я не мог представить, что все это сооружение может жить не только на бетоне.

Далеко-далеко, на краю взлетной полосы он замер, утихло его натужное дыхание, и все умолкло. И тишина висела такая пронзительная, что я слышал волглый стук дождевых капель о поля своей шляпы. Сочились секунды, и было совершенно ясно, что эта пузатая громадина, поглотившая Лилу и еще человек триста, одумалась, вошла в понятие: сейчас подкатят трап, всех выпустят на волю и пустая придумка благополучно закончится.

Такое летать не может.

Тугая волна грома ударила в лицо, пролетела надо мной, и я увидел, что аэробус с чудовищной, недостоверной скоростью приближается; бесследно исчезла его неуклюжая рыхлая толстота, навстречу мчалась мерцающая металлическая гора, вздыбленная над землей раскатами свистящего рева. Незаметно оторвался от серой тверди полосы, распрямил крылья и нырнул в тусклую клочковатую вату облаков.

Четыре расплывающиеся полосы, четыре дымные линейки турбинного выхлопа прочертили низкое сумрачное небо, как нотная строка сумасшедшей партитуры...

## Глава 2

Ветер пахнул осенью – яблоками, сырой листвой, самолетной керосиновой гарью, с ветром летел горьковатый запах прощания. Я пытался прикурить сигарету, но слабый язычок пламени срывался с зажигалки, щедедушный газовый огнемёт издавал лишь сопливое слабосильное сипение.

За спиной шоркнули по луже автомобильные шины, придрушенно взвизгнули тормоза, из-под правого моего бока выполз тупорылый «жигулиный» капот, и в рамке открытого окошка появилась круглая физиономия Сеньки Толстопальцева.

– Жить надоело? – спросил он и покрутил пальцем у виска.

– А я не затягиваюсь. – И показал ему незажженную сигарету.

– У вас в прокуратуре все шутники такие?

– Все. По утрам мы поем и смеемся как дети. Ты в город?

– Ну да. А ты провожал?

Я распахнул дверцу, уселся рядом с ним, и нега теплого тугого машинного воздуха, густо настоящего на хорошем табаке, захлестнула меня. За никелированной оградкой на щитке лежала пачка «Мальборо». Сенька отпустил сцепление, и его нарядный «жигуленок» с мягким подвыванием рванулся к выездному шоссе.

– Жену в Москву отправлял, – сказал я и достал из красно-белой пачки сигарету. – Давай потянем твоих заграничных, с чужим духом...

– Кури, кури, – благодушно разрешил Сенька. – От них кашель лучше, фирменный. А жена что, в командировку?

– Ну, вроде бы. Учиться поехала. В Институт усовершенствования врачей...

– Еще учиться? – удивился Сенька. – У меня последняя радость в жизни осталась: снится иногда по ночам, что пришел куда-то сдавать экзамен, как всегда, ничего не знаю, потом холодным обливаюсь, от ужаса просыпаюсь! И такое счастье охватывает – никогда никаких экзаменов больше сдавать не надо!

– Да, Сенька, я помню, как мы в школе брали первого апреля твой дневник пугать своих родителей...

– А вот видишь, не глупее других вырос! – весело захохотал Семен, и машина, будто пришпоренная его смехом, помчалась быстрее.

– По-моему, много умнее, – заверил я его серьезно. – А ты что в аэропорту в такую рань делал?

– Посылку друзьям отправлял. Хорошие люди, пусть плодами наших садов полакомятся...

– Пусть полакомятся, – разрешил я. – А ты разве садовод?

– Почему садовод? – удивился Сенька. – Я директор конторы по ремонту квартир...

– А откуда же у тебя плоды садов?

– Ты что, Борь, без головы? Иди на рынок, там только птичьего молока нет...

– Да, наверное... Я вообще думал, что, если друзьям такого головастого парня понадобится птичье молоко, ты и его где-нибудь надоишь...

– Пока не просили, – скромно пожал плечами Сенька. – Понадобится, найдем...

Сенька ткнул пальцем в кнопку магнитофона под щитком, и кабину, как аэростат, распер музыкально-пронзительный крик Глории Гейнор.

– А сигареты у тебя хорошие, – заметил я. – Где достаешь?

– Тут... в одном месте... неподалеку, – сделал неопределенный жест Сенька. – А ты помнишь, как мы на железнодорожном разъезде чинарики подбирали?

– Да, вдоль полотна всегда валялись окурки. У тебя был шикарный портсигар – банка из-под монпансье. А у меня...

– ...жестянка из-под зубного порошка «Новость»! – радостно всколыхнулся Сенька и растроганно-грустно добавил: – Сколько вместе прожили, а теперь годами не видимся...

– Мой прокурор говорит, что в наше время могут дружить между собой только люди, которые вместе живут или вместе работают...

– Очень правильно говорит твой прокурор! – серьезно согласился Сенька, а потом засмеялся: – Слушай, Борь, не можешь потолковать с ним – он меня не возьмет к вам? Будем вместе работать и дружить, как раньше...

– Прекрасная идея! – усмехнулся я. – Думаю, мой прокурор ни перед чем не остановится, лишь бы укрепить нашу пошатнувшуюся дружбу. Только я не понял: тебе что, твоя работа не подходит?

– Почему? – возмутился Сенька. – У меня место прекрасное! Только очень хлопотное. С утра до ночи беготня, вздохнуть некогда.

– Это хорошо, когда работы много. Ты не жалуешься. Плохо станет, если выгонят, тогда и дела кончатся.

– А я и не жалуясь! Но времени мало, ни на что не хватает. Кстати, ты сегодня пойдешь на поминки?

– На какие поминки?

– Так сегодня девять дней Васе Дрозденко... Ты что, эту историю не слышал?

– Слышал. Так, краем уха...

– Ничего себе! Краем уха! Весь город об этом говорит! А ты у себя там краем уха слышал! Это городская сенсация!.. Совсем вы бандитов распустили – живых людей давить!

– У меня таких сенсаций полный сейф. Я этого Дрозденко и помню-то совсем плохо. Он, кажется, старший брат Славки нашего?

– Ну конечно! Мы со Славкой вместе в первый класс пошли, а Васю, покойника, из седьмого вышибли... Помнишь, они в бараке за вторым двором жили...

– Да я у них дома никогда не был... И Славку много лет не видел...

– Боря, поверь мне, старому другу, – портит тебя твоя работа. Очерствел ты, браток! Видел, не видел – какая разница! Мы со Славкой десять лет дружили, такой кусок жизни собакам не бросишь. А у него горе большое, брат единственный погиб. Им сейчас сочувствие, уважение к памяти усопшего дороже хлеба! Ты бы надел форму, зашел к матери поклониться – глядишь, на том свете не один грех простят... Жизнь у тебя ведь мрачная, чужими слезами огорченная...

– Ты нравишься мне своей сердечностью, Сеня. И склонностью научить других правильно жить, понимать и чувствовать. Воистину, глупый любит учиться, а умный умеет учить...

– Смеешься надо мной? – укоризненно покачал он головой.

– Да нет! Наверное, действительно в прокуратуре люди от работы черствеют, а в конторе по ремонту квартир мягчают... Я подумаю над твоими словами... Вот ты и подвез меня до работы... Слушай, Сенька, а ты не боишься так быстро ездить?

– А чего бояться? – озадачился он.

– Как чего? Правила нарушаешь, права отнимут...

Сенька засмеялся.

– У меня не отнимут! – И добавил снисходительно: – Мне можно, разрешение имею... И номер у меня – будь-будь! С двумя нолями...

– Да-а? – поразился я. – И что они значат, эти ноли?

– Ну, в общем-то, ничего как бы не значат. Но гаишнику, постовому намек: это, мол, непростой человек, хороший парень, надо деликатно отнестись...

– Интересно! – хмыкнул я. – А тебя не смущает, что два ноля пишут на дверях сортира?

– Нет, не смущает, – заверил меня Сенька.

Я пожал плечами и вылез из уютной, теплой капсулы-кабины, укачивающе мягкой, пропахшей бензином, пластиком, табаком «Мальборо», хорошим одеколоном, помахал ему рукой:

– Ну, пока... Даст Бог, свидимся...

– Хорошо бы! И главное, чтобы не на поминках, а на празднике! Или по делу...

– По делу лучше не надо, – суховато заметил я.

– Ай-яй-яй, Борисок! Что, кроме уголовных, других дел в мире нет?

– Есть, наверное. Есть. Но мне достались только уголовные.

## Глава 3

Как быстро пролетели утренние часы! И все-таки я успел довольно много сделать – прямо-таки душит огромное количество писанины. А кроме того, подбирал хвосты, подтягивал концы, раскидывал все второстепенное, поскольку многолетний опыт добросовестного работника, не хватающего звезд, подсказывал мне, что давно заслуженный и все-таки достаточно внезапный уход Пети Верещагина на повышение сулит мне некоторые неприятности в виде дополнительно переброшенных дел, которые я должен буду заканчивать вместо него. Тут, собственно, и роптать-то не на что, дела ведь не могут ждать, пока придет новый человек. Вот нам, следователям, и раскидают их, всем братьям и сестрам по серьгам. С учетом нашей добросовестности, квалификации и загруженности.

Я не удивился нисколько, когда распахнулась дверь, влетел стремительно Петька Верещагин – он не ходил, он всегда бегал, – руки ему оттягивали три увесистые папки.

– Неслыханное драматическое действо, – сказал он, загоразживаясь от меня томаами. – Сейчас будет совершаться убийство прямо в стенах прокуратуры. О помиловании молю: убивай только не очень мучительно...

– Будь моя воля, я бы тебя по древнему обычаю...

– Это как?

– Как всякого перебежчика, четверкой лошадей растянул...

– Ничего себе гуманист! Бывший товарищ, называется! Проклинаешь меня?

– Не очень. Капризы судьбы: одним пироги и пышки, другим синяки и шишки...

Петька сбросил на мой стол папки, а сам устроился в любимой позе – посреди кабинета верхом на стуле.

– Не завидуй удаче друга – зависть унижает человека и разрушает печень. Кроме того, я уговорил шефа передать тебе самые легкие шишки и пожелтевшие синяки...

– Ну да, вы ж теперь с шефом на равных договариваетесь... – подначил я. – Это мы, скромные труженики правоохраны... Печальная участь неудачников: кто в кони подался, тот и воду вози. Давай свои жуткие творения...

Верещагин начал быстро листать тома:

– Взгляни, Боря, вот это дело приостановлено из-за болезни подследственного... Тут хищения и частное предпринимательство. По нему срок течет, но я назначил комплексную бухгалтерскую проверку и финансовую экспертизу. А это дело арестантское, по нему сидит человек... Хотя дело особой сложности не представляет, там совершенно ясная картина, нужно просто оформить должным образом, я просто физически не успеваю...

– Что за дело?

– Убийство Степановым Василия Дрозденко и нанесение им же тяжких телесных Сурену Егиазарову...

...Убийство Василия Дрозденко...

...Сегодня девять дней Васе Дрозденко...

...Это городская сенсация...

...Мы со Славкой вместе в первый класс пошли, а Васю, покойника, из седьмого вышибли...

...Они в бараке за вторым двором жили...

...Мы со Славкой десять лет дружили, такой кусок жизни собакам не бросишь...

...Им сейчас сочувствие, уважение памяти усопшего дороже хлеба...

...Зашел бы к матери поклониться – глядишь, на том свете не один грех простят...

...Жизнь у тебя ведь мрачная...

Эх, дурак, не послушал умника Сеньку Толстопальцева, не зашел на поминки! Не знаю, как насчет прощения грехов на том свете, а на этом я бы спокойно и твердо отказался от дела, поскольку вступил в личные отношения с потерпевшим и не могу гарантировать своей объективности в расследовании.

...Убийство Степановым Василия Дрозденко и нанесение тяжких телесных повреждений Сурену Егиазарову...

– Мотив?

– Хулиганство. Драка. Собственно, он их задавил машиной... – Петро говорил со мной и одновременно делал какие-то пометки в записной книжке, мыслями он уже был далеко.

– Машиной? – не понял я и переспросил: – Автомобилем, что ли?

– Ну да! – Верещагин открыл том и показал мне протокол. – Поздно вечером Степанов с несовершеннолетним братом ехал домой на машине и встретил компанию: Степанов попросил, вернее, потребовал закурить, те отказали. Слово за слово, Степанов двинул одному-другому по физиономии, те – взаимно – стали учить его вежливости, тогда он сел за руль и врезался с ходу в эту компанию. Дрозденко скончался на месте, а у Егиазарова сломаны обе ноги...

– А что Степанов говорит?

– А что ему говорить? Кается, объясняет, признает, что был не прав. Там же свидетели, потерпевшие...

– Понятно. – Я встал, собрал со стола папки, отпер сейф, загрузил в него верещагинское наследие и захлопнул стальную дверь.

– Первоначальные следственные действия выполнены, почти все допрошены, очные ставки имеются, – оправдывающимся голосом сказал Петя. – Я, честно, времени даром не терял. Между нами, девочками, говоря, знал, что ухожу. Так что тебе остаются кое-какие мелочи и, главное, конечно, обвинительное заключение...

Мы помолчали, и я, сам не знаю почему, сказал Верещагину:

– Я с братом погибшего Дрозденко Славкой в школе учился. В соседних дворах жили...

– Да-а? – удивился Верещагин. – Но это поводом для твоего отвода не может служить: слишком далеко, слишком давно, чтобы заподозрить тебя в предвзятости к убийце.

– Не о том речь, – махнул я рукой. – Сегодня утром я отказался идти к ним на поминки. Девять дней они отмечают...

– Ну и хорошо, что не пошел, меньше разговоров...

– Да черт с ним, с разговорами. Если совесть чиста, чего их бояться. А от разговоров все равно не скроешься: город вроде большой, а все друг друга знают...

– В нашей с тобой работе это даже хорошо, – засмеялся Петр. – Кстати, попрошу тебя, Боря, подумай на досуге, я ведь тебя с ответом не тороплю: я бы хотел, чуток оглядевшись, перетянуть тебе к себе замом. Подумаешь?

– Подумаю, – кивнул я. – Обязательно подумаю...

– Подумай, пожалуйста, – повторил Верещагин с нажимом. – Мы с тобой здорово поработаем...

– Да, наверное, – согласился я и вроде бы не хотел говорить, а все-таки сказал: – Знаешь, я в институте прилично играл в настольный теннис. Меня в парном разряде охотно брали вторым номером. Три раза был чемпионом «Буревестника»...

Верещагин хлопнул меня по плечу:

– Ты это брось! Просто для одиночного разряда тебе злости не хватает...

– Может быть... И честолобия... И азарта... И еще многого...

– Ладно-ладно! Пошли, нас народ ждет на вечеринке, которая состоится сейчас по случаю моего ухода.

Он схватил меня за рукав и поволок в коридор.

Прокуратура наша располагается в старом особняке, принадлежавшем некогда купцу Овчинникову. Особняк пережил революцию, две войны, фашистскую оккупацию, бесчисленные перепланировки и ремонты. Комнаты много раз перестраивали, разгораживали, и время, протекшее над нашим особнячком, как схлынувшая волна, оставило на виду утонувшие в прошлом вещицы: витую бронзовую ручку двери, мраморную полуколонну, хрустальную люстру с поредевшими подвесками, камин с заложенным дымоходом. И сохранившиеся в молве названия старых комнат, имевших когда-то совсем другое назначение. Маленький зальчик рядом с кабинетом нашего прокурора Сергея Николаевича Шатохина называется «детская». Там происходят у нас собрания, совещания и нечастые общие празднества.

И сейчас наши женщины накрывали здесь на сдвинутых канцелярских столах скромное служебное угощение для «отходной», которая устраивалась по случаю прощания с нами Пети Верещагина. Петька накопил соков, пирожных и лимонаду. Выпивку, как я догадываюсь, запретил Шатохин. И не только потому, что пить горячительные напитки в рабочее время недопустимо по любому поводу – Шатохин искренне считает всех пьющих людей ненормальными.

Штука в том, что Шатохин – выдающийся жизнелюб и неутомимый пропагандист здорового быта. Машинистка Люба Смашная говорит о нем с восторгом: «Мужик мирового стандарта – кинг сайз». Ему лет тридцать, рост 181 сантиметр, по утрам он час бегаёт в парке, и не трусцой, а маховой рысью, по воскресеньям парится в бане, а под шкафом в кабинете у него стоят напольные весы, по которым он ежедневно контролирует свою форму. У Шатохина жена – диктор телевидения, и они не пропускают ни одной премьеры, а в октябре он на ползарплаты выписывает все толстые журналы.

Шатохин – праздничный человек, прибывший в наш старый особняк из столицы. Грамотный юрист и волевой руководитель, опытный практик, за год он поставил дело таким макаром, что без него в прокуратуре мышь не пробежит. Он знает все обо всем и все держит на контроле. Громадная его работоспособность и замечательная память не оставляют нам ни малейших лазеек для мелких производственных хитростей – Шатохин прекрасно помнит все наши обещания, обязательства и сроки, делая совершенно бессмысленной неизбежную тактическую борьбу подчиненных с начальством. А прокуратура наша в итоге вышла на одно из первых мест в крае.

Я с детства мечтал быть похожим на таких людей. Не стать таким, как Шатохин, а родиться Шатохиным. Наверное, это очень увлекательно – родиться Шатохиным, а становиться им долго и малоперспективно. Так что теперь уж придется подождать до своего нового перевоплощения в другой жизни.

Приходя к нему в кабинет, я с грустью читаю вывешенный на стене рядом с сейфом цветной плакат: «Одна выкуренная сигарета оказывает вредное действие, равное 36 часам, проведенным на автомагистрали». Вежливо, напористо жучит он меня за какое-то упущение, или за медлительность, или еще за что-то, а я рассматриваю плакат и спокойно реагирую на терпеливо-снисходительную руготню прокурора Шатохина. Он очень молодой человек. И как все молодые, он относится к старикам не совсем одобрительно. С глубоким и искренним сомнением. Вот и сейчас, стоя во главе накрытого стола, он убежденно объяснял Галине Васильевне:

– ...нет, нет, нет! Это просто широко распространенный предрассудок, будто к старости люди становятся добрее и мудрее. С годами они становятся хуже – мозги окисляются, душа плесневеет. Мир созидают и двигают вперед молодые... Вы меня слушайте, Галина Васильевна, я это точно знаю...

Галина Васильевна, помпрокурора по общему надзору, готовящаяся вступить в пятый десяток, находится в явном затруднении: надо ли ей, как человеку немолодому, встать на защиту стариков или безоговорочной поддержкой тезиса Шатохина доказать, что она еще сама молода, что она еще хоть куда...

Но Шатохин сам ее выручил, переключив внимание на меня:

– Вот Борис Васильевич, я знаю, хоть и не спорит, со мной никогда не соглашается.

– Почему не соглашаюсь? – лицемерно возмущился я.

– Знаю, знаю. Ты и не соглашайся, я ненавижу навязывать людям свои представления. Но ты лови мысль: молодость – это не возраст, это душевное состояние! Которое, конечно, надо поддерживать физически.

– Можно я не буду поддерживать свое молодое душевное состояние физически? – спросил я вежливо, продемонстрировав одновременно и лояльность к мнению руководителя, и самостоятельность.

Шатохин засмеялся и махнул на меня рукой:

– Только здесь не кури. Женщины все-таки. И вообще здесь есть люди, которым такое самоуничтожение кажется дикостью...

За столом смеялись, гомонили, как на перроне около поезда, который уезжает далеко-далеко. Все знали, что Верещагин перебирается от нас за три улицы и завтра же или через неделю мы снова встретимся, но все чувствовали, что его поезд отправляется в очень дальнее следование. У служебных перемещений вверх долгие маршруты.

Шатохин поднялся и торжественно провозгласил:

– Мы отмечаем заслуженный успех нашего товарища Петра Алексеевича Верещагина, получившего назначение на высокий пост прокурора района. Я хочу подчеркнуть, что это факт признания реального труда и способностей Верещагина. Мы недолго работали вместе, но очень плотно. Всякое бывало – и споры, и трудности, и огорчения. Но это естественно, ведь следователь, получающий от работы сплошное удовольствие, – это больной человек. Лично я горячо рекомендовал Верещагина на выдвижение. Поэтому хочу пожелать Петру Алексеевичу больших успехов, творческого удовлетворения на новом для него посту и крепкого здоровья!

Я тихонько ухмыльнулся, поскольку Шатохин говорил чистую правду: он высоко оценивал Петра и чуть ли не с первого дня приложил все силы, чтобы Верещагин стал прокурором в соседнем, а не в нашем районе... В нашем районе прокурором Шатохин хотел побыть пока сам.

Все засуетились, стали проталкиваться к виновнику торжества, поздравлять, он смущенно и комканно говорил ответные слова благодарности, потом крикнул:

– Друзья, товарищи вы мои дорогие, спасибо вам за все, не поминайте лихом!

– Не будем, Петя, поминать лихом, – сказал я. – Ты ведь теперь начальство, а про начальство, как про покойников, плохо не говорят...

Шатохин покачал головой и сообщил мне, будто резолюцию в угловом штампе наложил:

– Шутка тяжелая и неуместная...

Я посмотрел в его ярко-голубые глаза на красивом молодом лице и подумал, что для победной игры в одиночном разряде нужно еще одно свойство – душевное состояние молодости. Надо будет проситься к Верещагину вторым номером.

## Глава 4

Как всякий современный городской человек, я приблизительно представляю себе разницу между жизнью и ее изображением в искусстве. Я догадываюсь, что существуют какие-то законы человеческого восприятия и книги или фильмы, построенные по этим законам, не могут быть фотографией бытия, а выбирают, наверное, что-то наиболее убедительное, впечатляющее или достоверное. И мне как потребителю кажется это правильным. Во всяком случае, когда я смотрю кино или читаю роман о шпионах, ветеринарах, землепашцах и инженерах, то есть о людях довольно далеких от меня занятий.

Но стоит мне посмотреть фильм о деятельности всего нашего следовательского сословия, как во мне вспыхивают детская зависть, женская недоверчивость и старческая брюзгливость. Я великодушно, по-мужски готов простить художникам описания оперативных автомобилей, будто бы обслуживающих меня круглосуточно, скорострельных машинисток-стенографисток, с треском ведущих за мной запись допросов, меня не смущают лихие перестрелки и засады, рвущие душу своим напряжением. Я готов допустить, что все это есть, с кем-то происходит – за пределами моей жизнедеятельности.

Лично я почти всегда езжу по своим делишкам на трамвае или автобусе. Чтобы неделями не дожидаться машинисток, выучился сам печатать на пишущей машинке, правда всего двумя пальцами. Что касается перестрелок, то за все годы службы мне довелось участвовать только в одной, и та быстро кончилась, когда выяснили, что по ошибке свои стали стрелять друг в друга, – к счастью, никто не попал.

Что же действительно выводит из себя, так это художественное воплощение нашей жизни на экране, когда следователь с удивительной самоотверженностью распутывает СВОЕ ДЕЛО.

Это дело – всем делам дело.

Совершая диалектическую эволюцию, превращаясь постепенно из мухи в слона, занимая все время следователя, окруженного добросовестными помощниками и доброжелательно-строгими начальниками, это дело ценой бессонных ночей и бешено энергичных дней постепенно распутывается, разматывается, раскручивается и благополучно завершается к вящему торжеству закона и людской справедливости.

И мне это нравится. Вот только злопыхательски ехидный вопрос не дает покоя: а что же все это время происходило с остальными восемью – десятью делами, которые должен вести всякий следователь?

Приостановили ли по ним срок производства?

Чем занимались арестованные, по ним обвиняемые?

Куда девались подозреваемые?

Не запятовали ли чего свидетели?

И вообще – как к этой сосредоточенности относились надзорные инстанции?

Очень досадно, конечно, но сейчас у меня вместе с тремя верещагинскими в производстве одиннадцать дел. Если же я выберу из них какое-то самое нужное, самое яркое, самое справедливое и буду долгими днями и бессонными ночами заниматься только им, то как раз к триумфальному его завершению меня с полным удовольствием выпрут с работы за волокиту по остальным делам. О, печальный разрыв яркой художественной достоверности с серой, но суровой реальностью!

К сожалению, не только по важным или интересным, а по всем без исключения делам должно происходить следственное движение. Скучная процессуальная динамика. И как пастух не может бросить на пастбище малоудойных или несимпатичных ему коров, так и следователь обязан привести в срок все доверенные ему дела к законному их окончанию.

Другой вопрос, что в своем хозяйстве следователь сам устанавливает первоочередность и иерархию, в которой главную роль играют арестантские дела. Самые ответственные – по ним сидит в заключении человек, обвиняемый, которому мерой пресечения избрано содержание под стражей.

Существует одна вещь, которая теоретически кажется простой, как аксиома, для нас же она сложна, как жизнь, и всегда бритвенно-остра. Это всеобщий договор цивилизованных людей о том, что человеческая свобода священна и отнять ее можно только по приговору суда, доказавшего и утвердившего вину человека. И любой гражданин, будь он семь раз убийца, совратитель и поджигатель, считается по закону невиновным до тех пор, пока суд – только суд! – не вынесет приговор, утверждающий его вину.

Те заключенные, что числятся за мной по расследуемым делам, никакого наказания не отбывают и покуда виновными еще не признаны. Есть веские основания обвинить их в совершении тяжких преступлений, но мне еще надлежит доказать их вину. И для того чтобы предлагаемый преступник не сбежал, не помешал установлению истины, мне предоставлены государством чрезвычайные, ни с чем не сравнимые полномочия, равных которым нет ни у кого. На основании закона, своих предположений, очевидных фактов и свидетельских показаний я имею право ограничить свободу другого человека. А попросту говоря, посадить в тюрьму. По существу, лишая свободы обвиняемого, я под свою ответственность отмеряю ему заранее часть наказания из того срока, который по моему представлению назначит суд.

Поэтому следователь, вынося постановление о взятии обвиняемого под стражу, и прокурор, санкционирующий арест, прежде чем принять такое решение, долго думают и взвешивают все обстоятельства. Потому что время от времени в силу самых разных причин происходит кошмарное ЧП – выясняется, что обвиняемый невиновен или вина его не доказана и мера пресечения во время предварительного следствия оказалась необоснованной. А если называть вещи своими именами – я заставил человека авансом отбыть позорное и тяжкое наказание, которого он не заслужил.

И чтобы муки нашей следовательской совести, душевная горечь, сердечная боль, профессиональный стыд и другие возвышенные, но трудно измеримые чувства запомнились на весь оставшийся срок службы – нам всем по инстанции снимают в таких случаях наши многочисленные головы.

Оттого-то каждый следователь, принимая к производству новые дела, для начала ставит на контроль арестантские – по ним предусмотрен жесткий срок расследования и содержания обвиняемых под стражей. Не управился вовремя, не передал к сроку обвинительное заключение в суд – иди к начальству, валяйся в ногах, плачь, вымаливай отсрочку или выпускай подследственного на волю до суда.

Я раздумывал об этом в канцелярии следственного изолятора, дожидаясь, пока ко мне доставят арестованного Александра Степанова, а подсознательно угадывал, что все эти мысли – лишь оправдания перед самим собой или несуществующими критиками моей вялой, несамостоятельной личности: стоило мне получить пачку чужих дел, тех, что свалились с пиршественного стола чужой жизни, как я сразу же отодвинул все свои дела, нужды и задачи и бросился выполнять данное поручение.

Наверное, я еще много чего надумал бы о себе всякого, но пришел замнач следственного изолятора по режиму майор Подрез, приветственно похлопал меня по спине, тепло поздоровался и озабоченно сообщил:

– Слушай, Борис, а ты стал полнеть... – Он это говорит всем – жирнягам и дистрофикам, и не от внимания, и не от рассеянности, а от желания сразу поставить собеседника в обороняющуюся позицию.

– Ну да, – кивнул я. – С позавчера, как не виделась, полпуда прибавил...

Подрез радостно захохотал:

– Вот дает! Но все равно сейчас каждую субботу по телевизору показывают музыкальную гимнастику, аэробика называется. Ты учти, тебе не помешает...

– Ладно. В субботу к тебе заеду, мы тут, в тюрьме, с тобой попрыгаем.

– Да ты и без меня хорошо напрыгаешься со своим Степановым...

– А он что, тоже стал полнеть?

– Безобразничает он. Видать, хулиган тот еще! Подрался вчера. Пришлось его в карцер на три дня посадить.

– А с кем дрался?

– С сокамерниками. Там разве точно установишь, со шпаной этой? Но Степанова с Кузькиным надзиратель засек. Обоих и отправил на три дня просвежиться.

– Хорошо, проводи меня к нему...

Чтобы попасть из служебного корпуса в следственный изолятор, надо пройти через внутренний двор, неестественно пустой и неправдоподобно чистый – такие дворы бывают только в инфекционных больницах и тюрьмах. Отшлифованная брусчатка, ровные линейки газонов с чахлыми астрами. На краснокирпичной башенке выложена дата сооружения – 1846. В те времена это грустное заведение называлось дисциплинарными казармами. И прозвище носило неплохое – Живодерный форт. Рассказывали, что в первом, тогда еще недостроенном корпусе содержали какое-то время пленного Шамиля, которого везли на поселение в Россию. Каких только названий не имел форт за свой долгий век: арестантские роты, сугубый централ, исправительный дом, дом предварительного заключения, тюрьма, а теперь вот следственный изолятор.

Сколько лет я хожу сюда, а все равно не исчезает неприятное теснение в груди, когда конвойный солдат, внимательно прочитав удостоверение и тщательно всмотревшись в лицо, сравнивает его с фотографией и коротко говорит:

– Проходите...

И сзади лязгает стальная, с решеткой дверь. Сводчатый потолок, темно-зеленые и грязно-синие стены, сбоку ворота из тяжелых дубовых брусьев в железной оковке.

Коридоры, коридоры, лестничные переходы, стук каблуков по каменному полу, скрежет ключей в замках на тамбурах-«рассекателях». Два марша вверх, надзиратель, предварительно заглянув в волчок, распахивает дверь в карцер.

## Глава 5

Высокий русский парень встал нам навстречу, руки во швам, четко отрапортовал:

– Заключение Степанов, двадцать четыре года, ранее не судимый, статья сто вторая, отбываю наказание в штрафном изоляторе за нарушение режима в камере.

– Здравствуйте, Степанов. Садитесь. Я ваш новый следователь.

Степанов сел на койку, усмехнулся криво:

– А старый что, на допросах со мной весь измылился?

– Нет, ваш бывший следователь Верещагин перешел на другую работу. Дело поручили мне. А почему вы о нем так? Вам что, Верещагин не нравился?

– А чего там нравится? Небось не девка в парке. Нравился! Видал я вас всех... – Он на миг запнулся и добавил все с той же кривой ухмылкой: —... в белых тапочках...

Подрез не выдержал такого злостного нарушения субординации и сообщил ему железным голосом:

– За хамничание со следователем можно и увеличить срок пребывания в штрафном изоляторе...

Степанов взялся за голову:

– Ох напугали, гражданин майор! Ох и напугали! Еще неделю посидеть без горячей баланды! И без этой шантрапы!

– Шантрапы?! – взвился Подрез. – А вы кто, Степанов? Народный артист?

Степанов встал и сказал свистящим шепотом Подрезу в лицо:

– Я не артист, я шоферюга. Но человек! А они барахло прибалтненное!

– Держитесь скромнее, Степанов! – строго заметил Подрез. – Они прибалтненные, а вы убийца. И нечего нос задирать...

Я мягко остановил Подреза:

– Спасибо, Иван Петрович, я сейчас сам разберусь, – тихонько отпихнул его и уселся напротив Степанова на табурет. Крошечный столик был между нами. Подрез махнул рукой – разбирайтесь сами! – и вышел. – Послушайте, Степанов, у меня нет охоты и времени тут препираться с вами. А про Верещагина я спросил, поскольку мне показалось, что вы о нем сказали с досадой и злобой...

– Ничего я не говорил. Следователь как следователь. Шустрый парень, задница веретеном. И расследовать ему там особо нечего, я сам рассказал, как дело было, все признал. Раскаиваюсь в совершенном. Готов понести наказание...

– Ну что ж, это меня радует, – сказал я, встал, прошелся по крошечной камере, остановился под окном, расчерченным решетками в крупные квадраты и забранным снаружи «намордником» – частым металлическим жалюзи, из-под которого сочились тонкие серые полоски дневного света.

– Чему вы радуетесь? – настороженно спросил Степанов и откинулся назад, словно хотел внимательно присмотреться ко мне.

– Тому, что вы раскаиваетесь. Как говорит наш прокурор, искреннее раскаяние есть первый шаг к реальному искуплению вины. Вот только беспокоит меня одна подробность...

– Это какая же? – Степанов напряженно смотрел на меня, и мне казалось, что глаза у него налиты йодом.

– Насколько оно искренне, ваше раскаяние...

– Раз говорю, значит искренне, – со злостью тряхнул головой Степанов. – Раскаяние – оно всегда искреннее.

– Мне так не показалось, – спокойно сказал я.

– Ну, раз не показалось, значит креститься не надо. Что мне, для доказательства своей искренности здесь, на стенке, распнуться, что ли? – И он широко развел руки в стороны.

– Да не надо распинаться. На Христа-страстотерпца вы все равно не похожи, да и гвоздиков под рукой нет. Я просто хотел обсудить с вами один вопрос... Посоветоваться, что ли. Вы ведь в местах заключения впервые?

– Слава богу, не доводилось...

– Вот видите, впервые. И к счастью, совсем недавно. А я, можно сказать, отбыл в тюрьме несколько лет. Прикиньте, сколько я тут дней, недель, месяцев провел на допросах, вот и набираются годы.

– Но хоть вечером домой уходите или тут же и ночуете? В свободной камере? – перебил меня, свистя горлом, Степанов.

– И ночевать случалось, – заверил я его. – А то, что меня в отличие от вас вечером домой отпускают, так ведь никого пока не убивал. Так что мне и дней, проведенных в тюрьме, хватает...

– Может быть, – кивнул он. – Только не пойму, что вы этим сказать хотите... Это же не я вам такую работенку кислую подыскал.

– Что я хочу сказать? Как бы вам объяснить... Я ведь здесь много-много раз, десятки раз, а может, и сотни слышал: «Я раскаиваюсь...» Вот я и хотел спросить: а что это такое? Что значит: «Я раскаиваюсь»?

– А вы сами не знаете? Или мне экзамен на совесть устраиваете? – Он разъяренно, с вызовом вперился в меня своими темно мерцающими глазами.

– Я так понимаю, что раскаиваться по-настоящему, искренне раскаиваться – это мучиться душой, сердцем страдать, совестью убиваться. Горевать от той беды, что ты людям сотворил, от греха своего по земле пластаться, головой о стену биться, выхода искать, как возместить утраченное... Я так это представляю.

– Красиво представляете! – с какой-то необъяснимой злостью выкрикнул Степанов. – А я раскаиваюсь просто! И возместить никому ничего не могу! Кроме годочков, которые я тут отбахаяю! Я же сказал вам, что готов отбыть наказание! И зачем вам все эти разговоры, вот чего я не понимаю!

– Ну знаете, есть такой странный обычай, традиция, можно сказать: когда люди знакомятся, они ведут разговоры. И стараются лучше узнать друг друга, понять...

– Это конечно! Наступит у нас полное взаимопонимание, и следствие протянет костлявую руку помощи... – ядовито улыбнулся Степанов, а в глазах у него плыла тоска.

– Трудно сказать, какую там, костлявую или мускулистую, но покамест вы в моей помощи явно не нуждаетесь. Сами в любой ситуации отобьетесь...

– Да уж надеюсь, – сердито прищурился он.

– А в камере вы чего дрались? – любопытствовал я.

– Я не дрался! – отрезал Степанов.

– Может, это Кузькин сам с собой дрался! А надзиратель все перепутал?

– И Кузькин сам с собой не дрался, – равнодушно ответил он. – Это я ему и его поганым дружкам пару раз по морде дал...

– Ого! – с восхищением заметил я. – И много их было, дружков-то?

– Двое. Да не имеет это значения...

– А чего вы вдруг с ними так строго?

– Потому что они шпана. Крысиная братия. Большие шалуны. А крыса понимает один резон – опаску. Крысу словом не проймешь, она должна страх знать. Да вообще-то, не важно это сейчас, они больше безобразничать в камере не будут.

– А вы это все майору Подрезу сообщили?

– Зачем? – удивился Степанов. – Это же глупо. Убийца жалуется на трех шакалов, что они его хотели с нар согнать? Неприлично. Да и бесполезно, их ведь трое, они коллектив, сами друг другу свидетели, и тихари их боятся. Ладно, плевать...

Его кулаки лежали на столике будто отдельно от него, это была не часть тела, а здоровенный ладный инструмент вроде хорошо помолотившего, а теперь забытого здесь цепа.

– Понятно, понятно, – сказал я и достал из портфеля папку с документами. – Я ознакомился, Степанов, с вашим делом, и обстоятельства его мне более или менее ясны...

– Вот и замечательно, – с энтузиазмом откликнулся он. – Скорее сяду – скорее выйду...

– Вы никак в колонию торопитесь?

– Конечно! Скорей бы суд миновать и в колонию. Здесь сидеть, время мять невмоготу...

– А в колонии что?

– Работа какая ни есть. Я колонии не боюсь. Я шофер, слесарь, электрик, монтажное дело знаю. Я всю жизнь вкалываю! В колонии тоже есть передовики и лодыри. Я там три нормы буду вламывать, зачет мне пойдет. Глядишь, условно-досрочно через пару-тройку лет на воле буду...

Я видел, как он накачивает себя, как изо всех сил духарится, как старается держаться, не пустить в сердце льдистую кислоту страха. Но мне обманывать его тоже никакого смысла не было.

– К сожалению, Степанов, дела обстоят не так розово, – сказал я. – К осужденным за умышленное убийство условно-досрочное освобождение не применяется...

Он яростно вперился в меня, и в глазах его бушевала буря – смятение, надежда, злость, растерянность. У нас случаются такие бури в сентябре: одновременно хлещет ливень, в дырищи черных туч прорываются пылающие столбы солнечного света, небосвод над головой улегся на огромную радугу, а с окоема поднимается отливающая свинцом снежная пелена... Нет, непростой паренек этот Степанов. Глядя сейчас на него, я мог себе легко представить, как он, разъярившись, прыгает за руль своей старой «победы» и с ревом разгоняет ее, направляя на толпу.

– И что, выходит, трубить мне от звонка до звонка? – потерянно спросил он. – С раскаянием и чистосердечным признанием? Так, что ли, выходит, по-вашему?

– Это, Степанов, не по-моему, а по закону. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете...

– «Я понима-аю»!.. – передразнил он меня. – Все вы тут понимаете!..

Не обращая внимания на его нахальство, я сказал:

– А тут особого понимания не требуется. Не надо быть курицей, говорят французы, чтобы представить, как она чувствует себя в кастрюле.

– Дураки ваши французы! – заявил Степанов с большой проникновенностью.

Я помолчал немного и сказал без нажима:

– И все-таки я бы хотел напомнить этой страдающей курице, что как раз сегодня поминки по человеку, которого эта курица склевала. Это может облегчить курице ее боль и обиду.

– Да бросьте, гражданин следователь! Не ремонтируйте мне мозги! – сказал, как сплюнул через губу, Степанов, и на лице его после разразившейся бури не осталось ни малейших следов раскаяния и скорби.

– Хорошо, – охотно согласился я. – У меня к вам один вопрос по существу. В первом объяснении, которое вы написали ночью в милиции... Помните?..

Я достал из папки голубой бланк милицейского протокола и показал ему.

– Вы помните, что вы писали в объяснении?

– Ну помню... Смутно, конечно... – настороженно ответил Степанов, явно ожидая от меня какого-то подвоха.

– Вот вы здесь изложили случившееся на площадке для отдыха несколько иначе, чем другие участники происшествия... Да и сами вы потом по-другому заговорили...

– А чего по-другому? – спросил он, а сам положил ногу на ногу, и по непрерывно раскачивающемуся носку тяжелого тюремного ботинка было видно, что он сильно нервничает.

– Ну вот здесь, вот в этом объяснении вы собственноручно написали, что затормозили, увидев, как несколько человек кого-то бьют, а присмотревшись, узнали в избитом Алексея Плахотина, шофера с вашей автобазы. Вы вступились за него, и тогда все остальные накинулись на вас и вы, испугавшись, решили бежать с места драки на машине, но они вас не пропускали, и вы ударили бампером и облицовкой двоих нападавших... Вы это писали?

– Наверное, писал... – кивнул он, продолжая упорно смотреть мимо меня, будто на болотно-зеленой стене было нарисовано что-то очень интересное.

– А через день на допросе официально заявили следователю Верещагину, что вы сами пристали к этим людям и ударили Плахотина, в результате чего и произошла драка со всеми последовавшими событиями. Так?

– Ага. Так оно все и было, – твердо сказал он, но смотрел упорно вбок, так что я был вырублен из поля его зрения.

– Тогда уточните мне сейчас, когда же вы говорили правду и почему изменили показания. Нервное лицо его стало твердеть, будто затекало медленно цементом. Он глубоко вздохнул и уверенно заявил:

– Я Верещагину сказал, как было дело. А в объяснении напутал... Испугался, волновался сильно... Умозатмение... Оправдаться думал... Я ведь тогда не знал еще, что Дрозденко умер...

– Ладно. – Я встал, сложил листы в папку и убрал дело в портфель. – Обещаю вам не тянуть с расследованием. И вести его со всей возможной объективностью.

– А там уже и расследовать-то нечего, и так все ясно. Скорей бы суд и – в колонию. Ничё, все переживем. Ишаков даже волки не едят...

Умозатмение. Последняя стихия после сокрушительной бури. Или перед ней?

## Глава 6

Плохая погода, ничего не попишешь. Небо лежит на затылке и давит на мозжечок. Маленько кружится и гудит голова, чуток ножонки подгибаются. А может, и не в погоде вся беда. Аккуратный читатель «Вечерки», я всегда внимательно прорабатываю рубрику «Погода на завтра и рекомендации врача». И постепенно заметил удручающую закономерность: какую бы погоду ни обещали синоптики, врачебные прогнозы всегда довольно грозные, а рекомендации неутешительные. Малопонятные пугающие слова вроде «метастатического давления» предписывают мне избегать стрессов, эмоциональных перегрузок, избыточного физического утомления. Сначала я хотел согласовать эти советы с поборником физического здоровья Шатохиным, указавшим мне на то, что телесная сила – залог молодости души, но потом на всякий случай воздержался. Тем более что он огорченно-заботливо напомнил бы о том, что в распечатанной мною с утра пачке осталось всего две сигареты.

Любому дураку ясно, что в больничной палате курить нельзя. Тем более в присутствии дамы. Молодой, красивой, в модных брючках-«бананах» и темно-синей кофточке – выходной рубашке американских ВВС. На плечах погончики с птичками, на левой пышной груди орденские ленточки, на правой – золотая эмблема «U. S. Air Force». Ах, какая замечательная летчица! Чарльз Линдберг и Анна Дюваль от зависти умерли бы: они были всего лишь гражданские летчики, хоть и американские, а эта боевая.

Воздухоплавательница сидела верхом на белом больничном стульчике и курила. Когда я открыл дверь, она заливисто, весело хохотала, держа в руке слоющуюся ароматным синим дымом сигарету. Распотрошенный блок «Мальборо» валялся на тумбочке рядом со сложным хирургическим сооружением, в котором можно было признать кровать только потому, что на него был водружен человек, именуемый в документах Суреном Хачиковичем Егиазаровым – 27 лет, метрдотель ресторана «Центральный», процессуально признанный потерпевшим в «деле по обвинению А. А. Степанова в убийстве гражданина Дрозденко В. Ф. и нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Егиазарову С. Х.».

Грандиозный ансамбль из пластиковых матовых деталей и нестерпимо сияющих хромированных штанг, рычагов и ручек позволял – так мне, во всяком случае, показалось – лежать хоть на потолке. И Егиазаров, видно, в этом нуждался, поскольку обе его ноги, закованные в тяжелые гипсовые доспехи, были высоко подвешены сложной системой блоков, хомутов и лямок. Первое, что мне бросилось в глаза, прежде чем я рассмотрел его лицо, – желтая, намазанная йодом пятка и спицей проткнутая насквозь лодыжка, к которой крепилась вся подвеска.

Печальное это зрелище могло бы хоть кого расстроить, если бы не хохочущие пациент и его посетительница-летчица. И бешеный рок из динамиков стереофоника «Акаи».

– Здравствуйте, веселые молодые люди, – сказал я приветливо.

– Здорово, если не шутишь, – отирая слезы радости, крикнул Егиазаров. – Заходи, дед.

Я даже оглянулся на всякий случай – не пришел ли со мной, не просочился ли незаметно какой-нибудь дедуган? Да нет, один я вошел. И на деда я еще не очень похож. Интересно знать, Шатохина он бы тоже назвал дедом?

– Что ты головой машешь, как ишак на овода? Проходи, не тушуйся, садись! Гость не гость, а все-таки человек при деле! Намотался за день, а?

– Да вот, не скрою, притомился маленько, – сказал я осторожно, немного обалдев от веселого нахальства моего потерпевшего.

– Маринка! – скомандовал от летчице. – Ну-ка, притарань из холодильника салами, рыбки копченой, ну, там еще чего, помидорчиков-огурчиков. А бутылка в шкафу... Давай, стариканчик, присосись к стаканчику, очень с устатку бодрит...

– Собственно, я не пью, – заметил я выжидательно, поскольку мало-мало растерялся.

– Ну, это не ври! Сейчас не пьют только больные или подлюги. А ты мужик вполне здоровый, помрешь еще не скоро. Ха-ха-ха! Ты что стоишь, Маринка? Ну-ка, бегом!

Летчица-пилотка очень плавно, неспешно взлетела, и даже невооруженным глазом было видно, как ей неохота меня обслуживать. А Егиазаров ловко выщелкнул из пачки сигарету и протянул мне:

– Закуривай, присядь и успокойся...

– Да я как-то не знаю, курить в палате...

– Да ты что! Кури спокойно! Здесь все схвачено, все довольны... Слушай, а ты работаешь сдельно или на твердой ставке?

– Я? На ставке. А что?

– Да просто любопытно. Работа ведь собачья. Наверное, целый день на бегу? Как волк, ногами кормишься?

Я засмеялся:

– Выходит, что так. Ну, еще маленько головой думать приходится...

Тут Егиазаров просто за живот схватился, все блоки и подвески замотались:

– Во дает! Головой думать!.. А о чем думать? За тебя Господь Бог думает: кого подкинет, с тем и возись... И сколько же тебе монет отслюнивают?

– Да ничего, вроде хватает...

– Молодец, хвалю! Больше всего ненавижу, когда скулить начинают, жаловаться. Да ты не дрожи, я в долгу не останусь, подкину детишкам на молочишко...

Надо прямо сказать, что за годы моей следовательской работы мне не один раз подсовывали взятку, но, честное слово, мне впервые предлагал вспомоществование потерпевший и в таких драматически-анекдотических обстоятельствах. У меня на миг даже мелькнула мысль, что Егиазаров или пьяный, или от перенесенных физических страданий сошел маленько с ума.

Лицо у Егиазарова было красивое, но какое-то маленькое. Природа наверняка не создает такие лица походя. Все черты были абсолютно правильными, подвижными, но удивительно мелкими. Безусловно, приступая к ответственному акту сотворения личности Сурика Егиазарова, природа сделала для верности предварительный, очень тщательный, масштабно уменьшенный эскиз с филигранной проработкой деталей. Но, как часто случается в нашей жизни, текучка и бытовщина, пустяковые хлопоты отвлекли Созидающую Силу от главного дела, а потом и времени осталось в обрез – пришлось природе выкинуть в конце квартала в мир огромного прекрасного молодца с миниатюрным личиком брюнетистого херувима.

Между тем распахнулась дверь и приземлилась наша прекрасная воздухоплавательница с охапкой кулков, свалила их на столик и достала из шкафа бутылку виски «Джонни Уокер».

Егиазаров спросил требовательно:

– Ты сегодня в прокуратуре был?

– Да, почти полдня провел, – робко ответил я.

– Бумаги взял?

– А у меня все дело с собой.

– Да-а? Ну ты, оказывается, шустрик! А как же это тебе все дело дали? – бесконечно удивился Егиазаров.

– Прокурор санкционировал, а следователь Верещагин передал его мне.

– А-а, это тот чернявый, быстрый такой? Он здесь был у меня, показания снимал! Ну, фиг с ним! А как же тебе все дело дали?

– А что же, по частям, что ли?

– Ну не знаю, я думал, что просто справку выпишут, и большой привет. В общем, это меня не кольшет! Маринка, сделай «гармошку» потише. Значит, ты давай закуси, выпей стаканчик-другой, больше не алкай, а то все перепутаешь. И садись пиши, что там надо...

Во мне медленно росло, зрело, кустилось веселое садистское удовольствие от предчувствия близкого кризиса явного недоразумения: веселый разбитной нахал принимал меня за кого-то другого.

– А что надо писать? – спросил я покорно.

– Откуда я знаю, чего вы пишете в таких случаях. Тебе самому надо знать, сынок, это же ты получаешь твердую ставку... Ну которой тебе хватает! Ха-ха-ха! Слышь, Маринка, ему хватает!

– Так это и видать, что ему хватает, – усмехнулась она равнодушно с заоблачных высот своей военно-воздушной форменки, и связывала ее с землей лишь длинная вьющаяся оранжевая лента, которую она ножичком аккуратно срезала с апельсина сплошной полосой.

– А, дед? Какая девулька! Скажи? Первый класс – «хай-фай»! Так что ты пишешь в таких случаях?

Я встал, прошелся по палате и постным голосом сообщил:

– Обычно в таких случаях пишу: «Я, старший следователь прокуратуры, допросил в качестве потерпевшего гражданина Егиазарова Сурена Хачиковича...» И так далее и тому подобное...

Издавательски грохотала в наступившем безмолвии японская стереофоническая «гармошка». Девочка «хай-фай» Марина замерла на подлете, ножик дернулся в руке, отхватил край яркой ленты, и кожура шлепнулась на пол. У Егиазарова отпала нижняя челюсть, так что можно было рассмотреть гланды, и он со своим детским лицом сразу стал похож на мальчика, говорящего доктору «а-а-а-а».

– Кто следователь? Ты? – медленно, с безмерным удивлением спросил он.

– Я. Что, не похож?

– Елки-палки! – На его беззаботном лице херувима-проходимца, как на дисплее, проплыли поочередно формулы удивления, досады, смущения, раздражения и снова озорства. – Я ведь вас принял за агента Госстраха! Сегодня обещал прийти, оформить страховку за увечье. Я ведь будто предчувствовал, что этот кретин меня изломает, и летом застраховался на пять тысяч! Кстати, а вы не боитесь свою жизнь?

– Нет, как-то в голову не приходило...

– И очень зря! Прекрасное дело! А при вашей профессии особенно! Хоть тысячи двести. Обязательно! – стал горячо убеждать меня Егиазаров.

– Я не оцениваю свою жизнь так высоко... – Мне очень понравилось, что себя Егиазаров ценит по крайней мере вдвое дороже меня. – Собственно, я вот зачем приехал: мне надо познакомиться со свидетелями и точнее представить некоторые обстоятельства. Тогда можно будет приступить к составлению обвинительного заключения.

– Да я рад помочь, чем смогу, – оживился Егиазаров. – А вы действительно не хотите выпить рюмочку? Вам на службе нельзя, наверное?..

– Нельзя и неохота... Кроме того, выпью я тут с вами на брудершафт, подружился на всю оставшуюся жизнь, как же тогда быть с моей объективностью в расследовании? Окажется ваш враг Степанов во всем и навсегда виноват...

– Во-первых, я вам точно скажу: дружба объективности не помеха! Вы уж мне поверьте, наверняка знаю. А во-вторых, не чувствую я в Степанове врага. Прошла у меня злость. Только Васю очень жалею, ни за что погиб человек. Безобидный, как муха...

Поднятый над всем земным хирургической кроватью и своим великодушием, Егиазаров посмотрел вокруг затуманившимся философическим взглядом.

– Была бы моя воля, – проникновенно сказал он, – не держал бы я Степанова в тюрьме. Не верю я, что в тюрьме можно сделать человека лучше, перевоспитать его скорее...

– А что бы вы сделали со Степановым на моем месте? – серьезно поинтересовался я.

– Отпустил бы его! Иди, жлобьяра, к людям, глянь на сирот, матери несчастной Васиной посмотри в глаза и убивайся, скотина, до конца своих дней! Мучься, собака, думай все время, как ты можешь этим несчастным горе загладить, какое им сотворил! Вот как я думаю! Маринка, правильно я говорю?

– Ты всегда, Сурик, правильно говоришь! – проворковала синяя пышногрудая авиаторша. – Ты очень умный и справедливый! Я и девочкам своим всегда объясняю: как Сурик сказал, так и надо поступать, он все понимает...

От охватившего ее волнения всколыхнулись нашивки и эрфорсовская эмблема на грудях – могучих крыльях покорительницы заоблачных вершин и сердечных глубин.

А мне взгрустнулось немного от патетически высокого человеколюбия Егиазарова. Я ведь совсем недавно почти то же самое излагал Степанову, и если он мои слова воспринимал, как я – пламенные тирады Сурика, то вряд ли я подвинул его к моральному очищению и искреннему раскаянию. Одни и те же слова. Что же наполняет их содержанием или оставляет пустым колебанием воздуха?

Наши поступки?

Не знаю. Наверное. Но как сделать, чтобы Степанов поверил мне?

– Мне приятно ваше высокогуманное отношение к людям, – сказал я со вздохом Егиазарову, – но удовлетворить ваше ходатайство об освобождении Степанова не могу. Закон возражает. Есть такой народный обычай, можно сказать, древняя традиция, как бы всеобщий предрассудок: убийц полагается держать в тюрьме...

– И никакой это не предрассудок! – возникла на подскоке планеристка. – Это ты, Сурик, никому зла не помнишь, а я бы их сразу на месте расстреливала! Бандиты проклятые, хулиганье! Приличным людям проходу нет! Когда вы им банок начали кидать, я на седьмом небе была...

Ай-яй-яй, Маринка молодцовая, летунья боевая! Как поучительно и полезно общение с бесстрашными воздухоплавательницами! Ведь, по ее словам, получается, что в момент, когда Степанову «накидывали банок», Марина не только пребывала на седьмом небе, но и одновременно присутствовала на месте преступления. Ай, как интересно!

Ни малейшего упоминания о ней в деле я не встретил. Забавно.

Жаль только, что гуманист Сурик тоже обратил на это внимание и весело спросил-напомнил-приказал:

– Подруга, ты на работу-то собираешься? Смотри, опоздаешь, тебе там расскажут про дисциплину...

– Ой, засиделась, господи! Да ничего, сейчас тачку схвачу, поспею...

Пока она укладывала свою красивую сумку-«таксу», переодевала что-то за моей спиной, я спросил Егиазарова:

– Надеюсь, вы не в претензии, что я вас допрашиваю в больнице? Это ведь и в ваших интересах, чтобы все быстрее окончилось...

– Конечно! О чем речь?

– Значит, я хотел бы, чтобы вы мне пояснили, как вы все там, на площадке отдыха, оказались...

– Да почти случайно это вышло. Выходной день был, мы ведь тоже люди, всегда других кормим, а сами, случается, за день во рту крошки не имеем: беготня, суета, вы понимаете. Вот и договорились, что Ахмет нас покормит шашлыками со своего мангала. Ясное дело, для своих оно вкуснее будет, чем на потоке общепита... Вот и собрались...

– Прекрасно. Кто да кто собрался? – Я взял блокнот и стал записывать его ответы. Протокольная часть допроса меня сейчас не интересовала.

– Ну, я там был, Вася Дрозденко, царство ему небесное, последний шашлык в жизни скушал, директор наш Эдуард Николаевич, Валера Карманов, шеф-повар, и Лешка Плахотин позже подъехал.

– Всё?

– Всё.

– Никого не забыли?

– А чего забывать, это же не Афонская пещера, все на виду, – засмеялся Егиазаров; он мне тоже демонстрировал, что наш разговор скорее душевный, чем формальный.

– Прелестно. А Плахотин – ваш сотрудник?

– Нет. Лешка не сотрудник. Так, старый знакомый... Встречаемся иногда.

Марина подошла к хромированной кровати, нежно поцеловала Егиазарова и строго наказала:

– Лежи не дергайся, не нарушай режим... Завтра с утра приду... – повернулась ко мне. – Очень приятно было с вами познакомиться. До свидания.

– До свидания, Марина. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Кстати, вы не можете объяснить... – Я сделал небольшую паузу и кивнул в сторону Сурика. – За что они стали Плахотина лупить?

Егиазаров высоко поднял брови и резко замотал головой, но я заслонял его собой, и Марина, не замечая предупредительных сигналов руководителя полетов, зашла на меня в стремительном пике:

– Сурик его бил?! Да вы что?! Сурик до него пальцем не дотронулся! Нужен он ему больно, лупить его!..

– Марина, я вас сейчас официально спрашиваю: вы точно видели, что это не Егиазаров бил Плахотина? – двинул я вопрос наподобие шахматной «вилки».

– Конечно видела! И где хотите подтвержу: не прикасался он к этой вонючке!

– Заткнись, дура! – тихо промолвил со своего медицинско-индустриального памятника Егиазаров. – Что ты могла видеть, когда тебя там не было вовсе! Это же я тебе все потом рассказал, в больнице. Ты забыла, что ли? Просто ты веришь каждому моему слову, я ведь никогда не вру! Меня в детстве так и называли: Сурик Честность. Правдивость – мое ремесло.

– Я рад за вас, Сурик, за вашу высокую репутацию у друзей детства. И уж пожалуйста, употребите на меня свое второе ремесло – правдивость. Расскажите, за что вы били, точнее говоря, за что ваши друзья били Плахотина?

– Да что вы ее слушаете? – вскипел Сурик. – Она же все перепутала, решила, что вы говорите о Степанове! Она ведь ничего не видела и перепутала фамилии. А нам бить Плахотина зачем? Нормальный парень, наш знакомый...

– Ага, значит, Марина перепутала... Ну что же, такое тоже возможно. А вы где работаете, Марина?

– Там же, в ресторане, в «Центральном»... Я там официантка...

– Фу, прямо камень с души, – сказал я с облегчением. – А то я вас принял за американскую легчицу.

## Глава 7

Автобус, пыхтя и отдуваясь, вез меня из больницы через окраины в центр. Он погружался в осенний вечер плавно и неотвратно, как тонущая в омуте бутылка. Проплывали за окнами спрятавшиеся в садах частные дома, их оранжево-красные абажуры и плафоны будто бакенами обозначили фарватер автобусу, петлявшему среди жилых кварталов, пустырей и строек.

На сиденье против меня дремала женщина. Одной рукой она прижимала к себе маленькую девочку, что-то без умолку рассказывавшую матери, а другой крепко держала объемистую авоську с продуктами. На ухабах и крутых поворотах женщина просыпалась на миг и быстро говорила девочке: «Да-да-да, доченька, все правильно...» – и сразу же погружалась в зыбкий, неглубокий сон. У женщины было тонкое, усталое лицо. Я смотрел на нее и испытывал печаль и нежность. Наверное, Лиля, возвращаясь с работы, тоже дремлет в автобусе. Женщины сильно устают.

Наверняка бойкая летчица-официантка Марина восприняла бы мою спутницу как знак неполучившейся, неудачной жизни. Но эта несостоявшаяся жизнь проходила отдельно от Марины, мчащейся сейчас на работу в «тачке» или на попутном «леваке»...

В те редкие дни, когда мне удастся пораньше закончить свои невеселые делишки, я захожу в школу за Маратиком. После занятий он остается на продленку, которую потом еще продлевает игрой в футбол до того мига, когда мяч можно найти на поле только ошупью. Тогда игра кончается, и он идет домой. Нет, нашего сына при всем желании не назовешь домоседом.

И ладно, коли дом был бы пуст, скучно юному джентльмену обретаться одному в четырех стенах. А то ведь бабушка дома, моя почтенная теща Валентина Степановна Пелех. Любого человека может соблазнить перспективой поговорить с моей тещей по душам – так много полезных сведений накопила она за свою долгую жизнь. И слава богу, не делает их секретом, а рассказывает всем желающим подробно, убедительно, безостановочно. Бестолковый неблагодарный внук, мой сын, не ценит даровой возможности обогатиться духовно, а хочет, наоборот, с такими же обормотами, как он сам, гонять на пустыре за школой в футбол.

Я, конечно, не одобряю его, но отчасти понимаю. И грозные риторические вопросы тещи: «Скажи, чугунный язык, отец ты ему или нет?» – оставляю без ответов. Я люблю неутомимую на добро и разговоры бабушку Валентину, но по удивительной прихоти сердца почему-то Маратку люблю еще больше. И всякий раз, обещая теще поговорить с сыном, иду на заведомую ложь. Дело в том, что я не верю в воспитательную силу нравоучительных слов и дисциплинарных указаний. Из тех житейских наблюдений, которые мне удалось накопить как следователю и как отцу, то есть педагогу-практику, я сделал для себя один вывод: обычно, вырастая, дети становятся такими же, как их родители. Когда мне случается вести дела несовершеннолетних преступников из благополучных или высокопоставленных семей, вокруг раздается взволнованно-недоумевающий клетот: «Непостижимо... Кто бы мог подумать... такая прекрасная семья... Выродок... Такие достойные родители...»

А я не верю, что ребенок – это выродок, а родители – достойные люди. Просто ребенок много лет учился в своем доме тому, что было скрыто от посторонних глаз достойным фасадом respectable благополучия. И однажды – из-за детской глупости или дерзости – всплыло на всеобщий погляд то, что так умело скрывали родители.

Со смирением и грустной улыбкой воспринимаю я гневные пророчества своей тещи: «Посмотришь-посмотришь, каменное сердце, вырастет мальчик такой же, как ты...» Напрягая свою деликатность до последнего предела, Валентина Степановна не уточняет, каким именно вырастет Маратик, но по тону ясно, что невысок в ее глазах мой человеческий и общественный коэффициент.

Жаль, что моя теща не знакома с Шатохиным, иначе по принципу сопоставления она бы объяснила Маратке раз и навсегда, что, занимаясь дома уроками и беседуя с ней вместо бессмысленной футбольной гоньбы, он мог бы вырасти таким прекрасным человеком, как мой прокурор.

Обычно в таких случаях за меня вступает в бой Лиля. Круто подбоченясь и выставив вперед упрямый подбородок, она ядовито спрашивает:

– Что же ты, мама, если он такой плохой, живешь с ним, а не со своими замечательными сыновьями?..

– Потому что я его люблю, безмозглая девушка, – загадочно поясняет свою прихотливую систему ценностей Валентина Степановна.

Старуху удручает, что ее внук, наш сын, хуже всех соседских детей. То есть, конечно, он лучше всех, но, к сожалению, это ее представление не находит пока никакого объективного подтверждения. Внуки и дети всех соседей – предмет законной родительской гордости. Один выполняет второй разряд по шашкам, другой – круглый отличник, третий поймал сбежавшего из зоопарка павлина, а Майка Кормилицына вошла в сборную республики по неведомой мне игре го. Все остальные дети тоже как-то отличились или прославились в масштабах нашего двора. Даже недоразвитый мальчик Слава Кунявин лучше всех закончил пятый класс, о чем с едким укором бабушка Валентина сообщила Марату.

– Во-первых, это еще надо проверить, мы его дневник не видали, – спокойно заметил Марат. – Во-вторых, ему пятнадцать лет. А в-третьих, он учился в школе с упрощенной программой, для неполноценных детей...

Я в этих дискуссиях не участвую. Я сам не знаю, хочется ли мне, чтобы Марат вырос похожим на меня. Тем более что природа уже решила самоуправно этот вопрос, передав ему генетический код Лилы. Когда я смотрю в его яростно горящие глаза, слушаю его рассказы, сбивчивые и не очень внятные оттого, что мысли опережают слова, вижу мелькающие в бешеной жестикуляции руки, я с тайным страхом думаю о том, что пролетит еще несколько очень быстрых лет – и он уже ни в чем не станет слушать меня, а в стремительном беге своей первой мужской самостоятельности все-все-все решит сам и поступит только так, как задумал и как велит ему веселое искреннее сердце...

Я был бы рад сделать бабушку Валентину счастливой, но мне не очень хочется, чтобы Маратик вырос похожим на Шатохина. В этом мире уже полно ярких и сильных людей. Сохраняется дефицит на добрых...

Моя теща говорит внуку: «Помни, ты надежда нашей семьи!» Марат смеется. Странное дело, когда я говорю то же самое, он ужасно ярится: «Ну перестань, хватит шутить, давай серьезно поговорим...»

Я шучу. Действительно шучу. Я стараюсь скрыть под насмешкой неясную мечту о его счастье. Каким оно может быть? Не представляю...

А сейчас надежда нашей семьи осатанело носилась по полю. На деревьях уже повисли ключья тумана, стелившегося по земле сизым дымом, в воздухе летели маленькие капли влаги. На востоке небо стало совсем черным, а на другой стороне небосвода грязную ветошь низких туч прорвала пронзительно-сиреневая полоса гаснущего света, кинувшая на лица бегающих детей нежный лиловый тон. Ребята вдруг дружно загомонили: кто-то послал мяч в аут и резиновый мокрый шар бесследно исчез в кустах.

Подошел ко мне запыхавшийся счастливый Марат:

– Мы им все-таки воткнули...

– Я на это очень надеялся – можно с чистой совестью и домой заглянуть, – заметил я и нравоучительно добавил: – Бабушка Валентина будет, безусловно, горда твоими успехами.

– Бабушка не понимает в футболе, – не обращая внимания на мои подначки, сказал спокойно Марат. – Я ее вчера спрашиваю: кто такой Эдсон Арантис ду Насименту? А она, слышь,

говорит: это мастер на хлебозаводе, его с испанскими детьми привезли сюда перед войной! Ха-ха-ха! Я чуть от хохота не умер!..

Мы медленно шли домой по каштановой аллее, и дым от моей сигареты неподвижным пластинчатым облачком повисал в темном воздухе густеющего вечера.

– Мне, конечно, совестно признаваться перед надеждой нашей семьи в столь же глубоком невежестве, но и я не знаю, кто такой этот Арантис, – заверил я сына. – Надеюсь, правда, что чистосердечное признание несколько смягчит мою оплошность...

– Да брось, папка, шутить! Это же настоящее имя Пеле – величайшего футболиста! Его весь мир знает...

– Ну это ты не прав! Раз мы с бабушкой Валентиной не знаем, значит еще не весь мир...

– Ну перестань смеяться, я никак не пойму, когда ты говоришь серьезно, а когда шутишь.

– Сынок, это, наверное, оттого, что я и сам не могу понять, когда жизнь со мной разговаривает серьезно, а когда шутит.

– Ладно, вот скажи, мы сегодня с ребятами спорили: может выжить человеческий детеныш среди зверей? – с обычной легкостью перескочил Марат на новую тему.

– Говорят, что может, – пожал я плечами. – Я читал, что такого Маугли сыскали где-то в Индии.

– И что, обычный человек? Нормальный?

– Не думаю. – Я с сомнением покачал головой. – Штука в том, что Маугли – только сказка. Я уверен, что выросший среди зверей – всегда зверь...

– Говорить не умеет?

– Он по-человечески чувствовать не умеет. Не знает, что такое правда, что такое совесть, что такое честь... Понял?

– Ага...

– Тогда и ты мне помоги решить одну задачку...

– По твоей работе? – оживился Маратка.

– Ну как бы... Скажи, семеро одного бьют?

– Вот еще! Это не по правилам... А вообще-то, бывает... Может, за дело? – рассудительно спросил он.

– За дело, – подтвердил я. – Только вот что меня удивляет: семеро одного побили и стали потерпевшими, потом оказались сами себе свидетелями, а теперь чувствуют себя судьями. Как полагаешь, не многовато?..

## Глава 8

И сегодня с самого утра, ссылаясь на повышенное метастатическое давление, врачи настойчиво советовали избегать стрессов и всяческих перегрузок. К счастью, мои рабочие планы никаких особых волнений не сулили: в первой половине дня мне предстояло встретиться с экспертами по «строительному» делу, а после обеда – с потерпевшими по делу Степанова.

«Строительное» дело представляло собой многотомное сооружение двухлетней давности с весьма сомнительной судебной перспективой. Возбудили его в ОБХСС по сигналу одного прораба, который сообщил, что руководство ремстройтреста расхищает государственные денежки путем «намазок» – выписывают липовые наряды на работу, никогда никем не производившуюся. Ревизия подтвердила, что смета на строительство перерасходована на десять тысяч: в шестидесятиквартирном доме закрыли наряды на штукатурку и покраску девятиста квартир. Я допросил маляров и штукатуров, которые, помявшись, признали, что, если в доме всего шестьдесят квартир, затруднительно отделать девятьсот, и поведали, что зарплату за тридцать лишних квартир они отдали начальству. После недолгого, хотя и упорного сопротивления начальство эти факты признало. Но с обвинением в хищении упрямо не соглашалось. «Хищение – это если б я себе в карман, – басом рыдала прораб Кленова, размазывая толстым кулаком скупые слезы по круглому лицу. – А я сроду копейки чужой не тронула! Девчонки-ученицы обои попортили – переклеивай. Унитазы, пока без воды строили, до отказа... это... замусорили. Чистить надо? А в смете этого нету! И еще надо, надо, надо! И за все плати! Вот и приходится... А про банкет я и не говорю: в жизни такого не было, чтобы комиссию не угостить, это уж обычай... Людей ведь уважить надо, раз дом приняли, не то в следующий раз с ними нахлебаешься!..»

Встречу с ресторанными потерпевшими я отложил на вторую половину дня не случайно: предприятия эти работают поздно, открываются часов в одиннадцать дня, так что я спокойно мог заниматься с экспертами, не боясь опоздать. Я решил их не вызывать в прокуратуру: они уже неоднократно были здесь у Верещагина, и я не хотел осложнять жизнь людей, и так уже пострадавших от действий обвиняемого. Но хотя бы познакомиться с ними, составить собственное мнение о них – особенно после вчерашнего свидания с Егизаровым и его «летчицей» Мариной – мне было любопытно. Вообще у меня появилось ощущение, что народ они непростой. А если это так, то и дело Степанова не такое уж очевидное...

Начинать я решил с Винокурова Эдуарда Николаевича – директора ресторана. Во-первых, ему это по рангу полагалось; во-вторых, мое любопытство было затронуто: как-никак директор, первое лицо, а вот спокойно, по-приятельски отправляется на пикник с подчиненными, без всякого бюрократства, чванства, это не каждый себе позволяет. Поэтому я оказался около двери с табличкой «Секретарь» на втором этаже роскошного, суперсовременного здания ресторана «Центральный».

Но секретаря на месте не было, и широко раскрытая дверь кабинета директора красноречиво свидетельствовала об отсутствии хозяина.

На всякий случай я все-таки заглянул в кабинет. Пусто. А кабинет просторный, с размахом и не без вкуса отделанный: деревянные панели на стенах, покрытый лаком паркет, картина в роскошной раме с видом селевой лавины. Большой письменный стол с хрустальной пепельницей, в которой лежит запечатанная пачка «Мальборо». И множество цветных фотографий знаменитостей. Обывательское любопытство, подстегнутое профессиональным интересом, явило мне яркий портрет Аллы Пугачевой под стеклом. В нижнем углу снимка – размашистый автограф Аллы Борисовны, и я с завистью подумал, что у нас, крыс канцелярских, значительно меньше возможностей заполучить такой сувенир, чем у служителей известного гастрономиче-

ского оазиса. Заинтересовавшись, перешел к следующей фотографии: стоя на ступенях ресторана, известный эстрадный певец со смущенным лицом принимает от симпатичной девушки в национальном костюме хлеб-соль. Рядом, любезно поддерживая артиста за локоток, как бы помогая ему принять каравай, красуется высокий симпатичный парень с волевым подбородком, с густой модной шевелюрой. На следующем снимке уже этот парень в центре внимания фотографа: широким жестом он приглашает к праздничному застолью группу хорошо одетых мужчин и женщин с лицами, несомненно, заграничными – ага, и верно, в центре на флагштоке красуются национальные цвета ФРГ. Понятно, иностранная делегация. А вот наша знаменитая хоккейная команда прямо на льду, в боевых доспехах, и в обнимку с голкипером все тот же красивый парень. А под фотографией – клюшка, испещренная неразборчивыми подписями хоккеистов и посвящением «нашему кормильцу, уважаемому Эдуарду Николаевичу Винокурову».

Вон что, значит, это и есть мой потерпевший.

Прекрасно. Будем считать, что наполовину наше знакомство уже состоялось, остается ему меня повидать. Хотя бы воочию, вживе, так сказать. Вряд ли вскорости Винокурову представится возможность полюбоваться моими фотографиями, на которых бы я вручал пышный букет артистке Софии Ротару, или пожимал руку знатному хлеборобу, или блистательно отбивал низовой мячик скромной ракеткой «принц» на тартановом корте стадиона при ресторане «Центральный». Молодцы бесстрашные воины общепита, счастливые баловни жизни, молодые, красивые, точно угадавшие свое призвание – занимать достойное место в социальной иерархии, обедать прямо по месту службы, кормить других и пользоваться уважением и благодарностью самых знаменитых людей в краевом, республиканском, общесоюзном и даже зарубежном масштабе.

И даже в качестве потерпевших, умудряющихся претерпеть не так уж сильно!

Бог весть, как далеко занесли бы меня бурные волны почтения и зависти, накатившие на сердце в ожидании Винокурова, если бы в приемной не послышались голоса. Я торопливо заглянул туда и увидел полненькую аппетитную девушку в скромном джинсовом платье и молодого загорелого мужика. Нет-нет, это был не Эдуард Николаевич, физиономию которого я только что изучил на портретах и запомнил; этого человека я видел впервые – никогда в подобных случаях не ошибаюсь.

Я смотрел на них, внутренне съезжившись в ожидании вопроса: «Вы что тут в чужом кабинете делаете?!» – и уже собрался проблеять что-то невнятное в свое оправдание, когда девушка сказала приветливо:

– А Эдуард Николаевич в исполкоме... Вы ведь его ждете?

– Так точно! – отрапортовал я и переспросил удрученно: – В исполкоме, значит? А когда обещал быть?

– Сегодня не будет, у него еще дела в городе, – сочувственно сказала девушка, как бы извиняясь за своего занятого начальника. – А вы договаривались?

– Да нет... – запнулся я. – Как провинциал, без звонка приехал.

Загорелый с интересом вскинул на меня глаза.

– Что-то не припомню я вас... Вы откуда будете? – Голос у него был низкий, сильный, с хрипотцой.

В мои планы не входило оповещать Винокурова о своем прибытии – не только провинциализмом объяснялся мой визит без звонка, – поэтому я пробормотал:

– А мне кажется, мы где-то встречались... Вы здесь работаете?

Секретарша опередила его, пропела торопливо-уважительно:

– Это товарищ Карманов, наш завпроизводством!

Ах так! Он ведь тоже потерпевший, и с ним я тоже собирался поговорить, ничего, что он второй в моем списке. Карманов, покосившись на секретаршу, протянул мне руку, сказал просто:

– Валерий...

Рукопожатие у него было мощное, и он не выпускал мою кисть до тех пор, пока я не сознался:

– Субботин... Борис Васильевич.

По лицу его мелькнула быстрая, почти неуловимая тень – напрягся, вспоминая. И вспомнил:

– Следователь? Из прокуратуры?

Я кивнул. Ничего не поделаешь, зря я рассчитывал на сюрприз, Егиазаров уже проинформировал коллег по несчастью. Ну и что? Собственно говоря, на что мне эти сюрпризы, они ведь потерпевшие.

– Приходится снова вас беспокоить, порядок такой существует – раз новый следователь, значит...

– Да ну, перестаньте, – с широкой сердечной улыбкой сказал Карманов и, полуобняв за плечи, подтолкнул к кабинету. – Раз надо, значит надо. Пошли, потолкуем... А ты, Леночка, никого не пускай...

Он плотно прикрыл дверь, усадил меня за приставной столик, сам уселся напротив, достал из кармана «Мальборо», протянул мне пачку, лихо щелкнул ногтем по ее дончику, отчего высунулись сразу две сигареты.

– Закуривайте! Виргинский табачок, ноль вреда для здоровья...

С интересом я рассматривал его лицо ресторанный конкистадора – хитро завитые губы, толстый мясной клюв, седеющая густая прическа а-ля сессун. Наверное, на женщин такая внешность должна производить неизгладимое впечатление. К его джинсовой амуниции еще бы широкополую шляпу стетсон и поварешку в открытой кобуре!

Зажав в углу жестких извилистых губ сигарету, он доброжелательно смотрел мне в лицо.

И я закурил «Мальборо», выпустил к потолку душистую голубовато-серую струю дыма, сообщил ему задумчиво-искренне:

– Хорошие сигареты!

Карманов улыбнулся гостеприимно-снисходительно, будто он эти якобы безвредные, зато вкусные сигареты сам лично на своей кухне изготовил, и похвалил меня:

– Приятно, когда человек имеет вкус! Кстати, наш Ахмет делает шашлычки – свет не видел! Вам обязательно надо попробовать...

– Как-нибудь... – сказал я рассеянно. – Шашлыки – дело доброе... Кстати, вернемся к нашей печальной истории. Я бы хотел услышать от вас, как оно все было, с самого начала.

Карманов пожал плечами, показывая всем своим видом, что печальная история вовсе не кажется ему «кстати» только что завязавшемуся между нами душевному разговору. Однако перечить мне не решился.

– Да что... Я уже рассказывал... Подъезжает этот хмырь, Степанов, вылезает из машины...

Я решительно, хотя с извиняющимся видом, перебил его:

– Нет-нет, мне интересно все с самого начала. Вы-то все что там делали?

– Что делали? – удивился Карманов. – Да ничего, стояли, разговаривали...

– А почему именно там?

Карманов помялся, и я пришел ему на помощь:

– Да что вы стесняетесь! Что я, с облака, что ли? Ну собрались на шашлыки, что такого?

Или неудобно, что начальство с подчиненными пару рюмок опрокинуло?

Карманов неуверенно улыбнулся. Я спросил:

– У вас, вообще-то, в коллективе какие отношения?

Он ответил мгновенно:

– Боремся за высокое звание...

– А если попросту?

Шеф проникся ко мне доверием:

– Лучше не бывает! Народ у нас собрался молодой, почти все ровесники. И директор наш, Эдуард Николаевич, тоже молодой, институт закончил. И между прочим, из себя не строит, он нам как товарищ.

– В каком смысле? – спросил я осторожно.

– В любом смысле! – решительно рубанул воздух ладонью Карманов. – По работе, конечно, строгий, требует, чтобы все было тип-топ, но народ это понимает, одно дело делаем... А в остальном – как товарищ. У нас, между прочим, за три года ни один человек не уволился.

– Что, так работой этой довольны?

– Конечно! Пусть шевелиться приходится, зато, как говорят, сыт, одет и нос в табаке!

Я невольно перевел взгляд на «Мальборо». Он курил свою сигарету с видом человека, патриотизм которого выше подозрений, и его лицо казалось мне очень знакомым, но памяти не за что было зацепиться, не мог я сообразить – видел я его когда-то или он просто на кого-то похож.

Я не удержался:

– В общем-то, основной принцип – кто у вас не работает, тот не ест?

Он возмущенно всплеснул руками, но в приемной послышались голоса, какой-то мужчина возбужденно требовал немедленно пропустить его к директору, а секретарша вежливо объясняла, что директора нет, уехал он. Посетитель никак не хотел утомиться и кричал, что сам видел, директор на месте, в кабинете.

– Не дадут поговорить, – сокрушенно покачал головой Карманов. – Пойдемте лучше ко мне, заодно и производство наше посмотрите, вроде как на экскурсии.

Я поднялся, и мы вышли из кабинета в приемную, где на стуле устроился худой человек с обиженным лицом. При виде нас он вскочил:

– Товарищ директор! Когда же кончится это безобразие? У меня язва желудка, а мне дают наперченный суп; прошу манную кашу – нету, говорят, ее в меню.

– Я не директор, – мягко сказал Карманов, – но мы сейчас попробуем что-нибудь сделать...

Сняв трубку внутреннего телефона, он коротко распорядился:

– Быстренько приготовить для уважаемого посетителя диетический суп и молочную кашу. – Добавил укоризненно и со вздохом: – Неужели трудно помочь человеку? – и заверил посетителя, что его сейчас же накормят в лучшем виде, хотя ресторанная кухня в основном держит курс на здоровые желудки...

Взяв меня за руку, он направился в «производство», попутно объясняя назначение помещений кухни: здесь коренная, здесь моечная, тут готовятся первые блюда, вот новейший импортный жарочный шкаф. На холодильнике надпись: «Мясо». Везде кипела работа, мелодично позванивала касса, к раздаче подбегали официанты, весело переговаривались, стуча ножами, поварешками, раздумывавшиеся у плит поварихи. Народ действительно был в основном молодой, особенно официанты, и, возвращаясь к прерванному разговору, я спросил Карманова:

– Вот сейчас пресса, особенно молодежная, горячо обсуждает проблемы престижности профессий. Как ваши-то, не стесняются своей работы?

– Стесняются? – с недоумением переспросил Карманов и даже остановился. – Да вы что? Сейчас все понимают, что работа в ресторане – это отличное дело. Вот наш бармен был недавно

на курорте в Кисловодске. Так его в одном застолье – из престижности! – представили народным артистом. Он знаете как обиделся?! Зачем, говорит, эти штуки, меня и так все уважают!

Я от души расхохотался:

– С этим вопросом все ясно!

– Тогда пошли дальше... – Отдав по пути несколько распоряжений, Карманов привел меня в небольшую комнатку со сплошной стеклянной стеной. – Это мой КП, все поле битвы на виду. Чаю согреть? Или, может, чего покрепче?

В помещении, несмотря на вертевшийся под потолком вентилятор, было очень жарко – все-таки сказывалась близость большой кухни. И я сказал совершенно искренне:

– «Чего покрепче» я на работе не употребляю, а вот чаю можно...

– Сейчас нарисуем!

– Прекрасно. Тогда вернемся к делу. Если не ошибаюсь, вы показали, что Степанов тогда с ходу, прямо-таки с налету вылез из машины и немедленно затеял скандал, который быстро перешел в драку?

– Да, так оно и вышло.

– А почему? У него что, были какие-то к вам претензии? Счеты?

– Да какие счета! Мы с ним, считай, и не знакомы вовсе. – Карманов закурил новую сигарету и, подумав, добавил: – Я ему сразу сказал: вали отсюда, а то полетишь у меня дальше, чем увидишь!

– Но все же чем объяснить такое его странное поведение? Он же не сумасшедший!

За стеклянной стенкой два официанта остановились перекурить. Карманов уставился на них и сказал задумчиво:

– Зачем сумасшедший? Пьяный он был.

Гм, на допросе у Верещагина он этого не говорил. Но в показаниях других словечко «пьяный» промелькнуло так, между прочим, без особого нажима. Акта медицинской экспертизы в деле нет. Я уже звонил в ГАИ – их патрульный экипаж прибыл на место последним, а выезжала по телефонному вызову на место происшествия опергруппа дежурного по городу. И никто не направил Степанова на освидетельствование. Странно. Забыли, что ли, в суматохе?.. Или... Надо будет допросить по этому поводу милиционеров. Тем более сам Степанов твердит, что спиртного не употреблял, что вообще за рулем никогда не пьет.

– И что, сильно пьяный?

– Сильно... – Карманов запнулся, подумал и уточнил: – Ну, в смысле – на ногах он хорошо держался, но... но... крепко поддамши, психовал очень!

Любопытно: «сильно пьяный», потому что «крепко поддамши». И на ногах хорошо держался. Ну да, если бы плохо на ногах держался, то как бы он всю эту бучу, эту коллективную крепкую драку учинил? А «крепко поддамши» – это более абстрактно. Ладно, пока замнем для ясности...

Карманов пошел за чаем, а я прислушался к разговору официантов за стеклянной стенкой. Один из них жаловался на плохое самочувствие, а другой сопереживал, приговаривая:

– Ну да, с ними, паразитами, не соскучишься. Это не так, другое не эдак, мясо ему, видишь, не нравится – остыло, а у самого в кармане пятерка вшивая...

Первый официант, устало махнув рукой, протянул:

– Не-е, они мне что, я их за больных считаю... – и выразительно покрутил пальцы у виска.

Появился Карманов, прогнал официантов, поставил передо мной стакан крепкого чая в мельхиоровом подстаканнике. Я решил сделать в нашем разговоре еще один поворот:

– Мне что-то непонятно: как в вашей компании оказался Плахотин, он ведь с вами не работает?

– Как не работает? – удивился Карманов. – Он хоть и на автобазе числится, но обслуживает нас постоянно. А шофер – первый человек, от него план не меньше, чем от повара, зависит.

– Ну? – подбодрил я замолчавшего собеседника, с удовольствием оглядывая его худощавый торс, стройную шею и сильные руки, покойно лежавшие на столе. Он и на повара-то не был похож – сколько я их повидал, обрюзгших, расплывшихся, жирных. А этот – ну вылитый боксер-средневес!

– Вот он увидел, что мы на шашлыки собрались, и привязался: «Ребята, возьмите!» Ну и что, жалко, что ли? Шашлыков всем хватило!

– Понятно. Я вот еще о чем думаю: неужели вы для отдыха лучше места не нашли, можно сказать, прямо на шоссе устроились?

Он глянул на меня, показал в короткой улыбке ослепительные зубы, снисходительно объяснил:

– Мы же не на свадьбу собрались. Выходной день, сами понимаете, у всех свои дела, ну и решили на ходу под рюмочку по шашлычку принять на душу населения. Не ехать же в горы, тем более там лесники на всех дорогах шлагбаумы поставили – от пожаров. Думали, перекусим, поболтаем – и по домам, спать. А оно вон как получилось...

– Это было в среду, помнится? У вас выходные в среду?

– У нас выходные по скользящему графику, – важно сказал Карманов. – Мы ведь предприятие с непрерывным циклом, без выходных и праздников обслуживаем трудящихся.

Я посмотрел на портрет директора. Перехватив мой взгляд, Карманов сказал сочувственно:

– А Эдуард Николаевич вообще, считай, без выходных работает.

– Это как же? – удивился я.

– Очень просто. У нас раз навсегда заведено: без директора птичка не пролетит! Он всегда на месте, как капитан на корабле.

– Не знаю, я никогда на корабле не был, – сказал я удрученно.

Карманов рассмеялся:

– А я был, в круиз вокруг Европы ездил. И с капитаном подружился, боевой парень! А вот отдыхать ему некогда... И нашему капитану то же самое!

– Но ведь человек не может без отдыха! – вступился я за директора.

– Лавировать приходится. Бывает и межсезонье, бывают дни потише, ну, наплыв гостей поменьше, ему и удастся дух перевести. Вот как сегодня, например.

– А-а, исполком и другие дела в городе! – догадался я. – Рад за вашего капитана... Жаль только, мне не повезло, хотелось бы поскорее это дело нудное закончить...

Карманов наклонился ко мне и тихо, доверительно сказал, почти прошептал:

– В Оздоровительном комплексе он... – Посмотрел на часы и добавил: – Уже наверняка попарился, сейчас на «восточной» греется, потом общий массаж и бассейн. Я вам ничего не говорил, но только мне это дело уже – во!

И он провел пальцем по горлу.

Мы дружески распрощались, но в дверях я вспомнил, обернулся:

– Да, чуть не забыл: мне бы хотелось с Мариной, официанткой, потолковать...

Карманов нахмурился, сказал сквозь зубы:

– Да ее ж там не было...

– Где? – не понял я.

– На площадке. – И повторил с нажимом: – Ее там не было.

– Не было, так не было, – легко согласился я.

– Вот и договорились, – оживился Карманов.

Он опять улыбался, и лицо его было мне странно знакомо.

## Глава 9

Я шел по улице, лениво размахивая своим нетяжелым портфелем, и размышлял о причинах возникшей у меня неприязни к этим людям, которые именовались в деле «свидетели и потерпевшие». Долго думал, а ответа не нашел, потому что все варианты объяснений были либо несерьезные, либо оскорбляли мое достоинство.

Многие поколения моих предков были пастухами и скотоводами-кочевниками. Древнее предание, ставшее уже историческим предрассудком, считает, что кочевник всегда презирал торговца. Кочевник и деловитость – понятия несовместимые. В своей очень простой и невыносимо трудной жизни кочевник пробивался смелостью, терпением, стойкостью, спокойной неприхотливостью, но никак не хитростью, не ловкостью, не быстроумием.

С незапамятных времен пастух-табунщик своими ногами промерил глубину горизонта и знал, что Земля – шарик, растянутый на кочевые переходы от пастбища к водою.

И постижение замкнутости всех жизненных маршрутов сделало его философическим лентяем, безразличным к богатству, снисходительно принимающим сытный обед и теплый ночлег и равнодушно презирающим холод и бескормицу.

Наверное, это очень сильная штука – генетическая память. Ведь мое профессиональное бескорыстие и честность – это не достоинство, не добродетель, не кокетливая поза. Это, скорее всего, форма жизнедеятельности моих генов, переданных мне предками-кочевниками.

Я кочую непрерывно по жизни, как неостановимо мчащийся неоновый автомобильчик на рекламе такси. А кочевнику груз накопленных дорогих вещей обременителен. У меня нет вкуса к изысканной еде, так что и гастрономические вожеления мне чужды, и выпиваю я мало – мне при моей нервной системе скорее показан бром. Да и страсти модников по фирмовой одежде мне неведомы. Таким образом, все мои морально-устойчивые достоинства суть сумма неразвившихся пороков. Да и вообще как-то совестно считать добродетелью отсутствие в тебе четкого накопительски-потребительского инстинкта.

А чего же тебе надобно, старче?

Не знаю.

Своим небыстрым умом я понимал, какая это иллюзия – понятие «беспристрастность закона». Дело в том, что непристрастность закона – не выдумка, не лозунг, не абстрактная идея.

Беспристрастность закона – мечта.

Между законом, точным, справедливым, мудрым, и его реальным исполнением пролегла приличная дистанция – шириною в жизнь, наполненная живыми людьми с их страстями и пристрастиями, пороками и добродетелями, симпатиями и антипатиями. И покамест люди, слава богу, не решили препоручить исполнение закона электронным машинам, а вершат его сами, он несет на себе отпечаток личности тех, кто ему служит. И может быть, сам-то закон беспристрастен, холодно чист и объективен, но люди на службе закона не могут быть беспристрастны. Жизнь, случается, ставит их в такие позиции, где непристрастность или неуместна, или невозможна.

Я немного стыдился того неприязненного чувства, которое возникло у меня в общении с этими людьми – моими свидетелями и потерпевшими, уверенными в себе, твердо знающими, как надо жить, не ведающими сомнений и загадок, и думал о том, что, доживи я хоть до тысячи лет, мне никогда не научиться вести себя так же твердо и уверенно на бешеной автомагистрали бытия.

Никогда не придет мне в голову отправиться посреди работы в баню, пользуясь своим ненормированным днем, который вряд ли короче, и проще, и беззаботнее, чем у Винокурова. И вовсе не в том дело, что я формалист и трусливый дисциплинированный служака, а просто

мое воображение скромного служащего, аккуратного исполнителя поражает эта беззаветная храбрость в обращении с установленными порядками, эта уверенная раскованность хозяина жизни.

И, вяло перебирая в голове все эти идейки, я вдруг напал на поразившую и несколько напугавшую меня самую мысль: а почему бы мне не пойти в баню? У меня тоже день ненормированный, я тоже работаю и в субботу, и в воскресенье, а случается, и по ночам. Почему бы и мне не пойти среди бела дня в баню, благо у меня есть прекрасный повод – встреча с человеком, которого мне нужно допросить по делу. Баня, конечно, не самое привычное место для официального допроса, но для знакомства и разговора с потерпевшим или свидетелем – это, возможно, самая удобная площадка.

Знающие люди утверждают, что нигде человек так не раскрепощается, нигде он так не свободен, нигде так не расторможен, как в бане. И может быть, разговор в бане поможет торжеству беспристрастности закона. Я ведь исповедую железный принцип: если тебе чем-то неприятен человек, если ты не согласен с ним, если ты не веришь в его убеждения и не разделяешь его точки зрения, то попробуй встать на его место. Постарайся понять, чего он хочет, о чем думает, как живет, возможно, это поможет преодолеть барьер неприятия.

Ну и конечно, существует еще одно важное обстоятельство. Оздоровительный комплекс, как высокопарно называется наша прекрасная городская баня, работает третий год, и я, ссылаясь на чрезмерную занятость, загруженность, бытовые неурядицы, повседневные будничные хлопоты, так и не удосужился ни разу побывать в нем, хотя, скорее всего, связано это с моей ленью и нелюбопытством.

Встреча с Винокуровым была для меня тем моральным стимулом, который восполнил бы пробел в моих знаниях о помывочно-парильно-массажных достопримечательностях города, способных превратить меня в человека, молодого душой и зрелого телом.

На «шестом» трамвае я доехал до центрального парка, с удовольствием прошел по его пустоватым, засыпанным осенней листвой аллеям, пересек улицу Фурманова и оказался у ворот здания, похожего на старинную мечеть. Наверное, в этом храме моющиеся прихожане молились воде, пару и веникам, прося их дать здоровье, бодрость и свежесть души.

Баня была действительно великолепна. Она предлагала максимум придуманных человеком услуг и наслаждений, связанных с водой, негой. Финская баня – сауна, русская парная, восточная баня с горячим каменным матрасом – суфэ, бассейн, разнообразные души, зал физиотерапии. Можно было прожить неделю, не выходя из этого капища воды и тепла.

В восточной бане, исполненной во всем блеске ориентальной роскоши, народу было немного. И над всем этим великолепием царил Эдуард Николаевич Винокуров. Я сразу узнал его. Винокуров был окружен группой молодых людей, взиравших на своего предводителя с обожанием и оказывавших ему ежесекундно всякого рода почести и услуги, соответствующие, по-видимому, его сану парильного имама. А он в отличие от деспотичного аятоллы был демократичен, снисходителен и весел.

Красивый белокурый парень, судя по его ловким и гибким ухваткам, первоклассный массажист, разминая Эдуарда Николаевича, приговаривал нечто вроде банной молитвы:

– Баня – это чудодейственный процесс. Он возвращает нам силу и выгоняет шлаки... только во всем нужен регламент... Сейчас заканчиваем массаж и ложимся на суфэ... Прогреваем все мышцы, связки, косточки... Перегрева быть не может... Температура камня не выше семидесяти градусов... Потом идем в парилку... А там уже венички... Встаем, снова массаж, теперь уже точечный... Бокал холодного шампанского... Снова суфэ, затем бассейн – и что? Молодость и мощь никогда не покидают нас!..

Все весело прихихатывали. И Винокуров улыбался.

Завернувшись в простыню, я лежал на суфэ, наслаждался блаженным ровным теплом и в полудреме наблюдал за ними, полностью увлеченными процессом оздоровления Эдуарда

Николаевича. Когда Винокуров встал с лежанки и, сопровождаемый свитой, направился в парилку, я счел необходимым поприсутствовать при этом процессе воскрешения силы, здоровья и молодости и тоже пронырнул в раскаленное пекло. Укладывая Винокурова на полку, массажист пояснял, доставая из ведра веники:

– Париться надлежит тремя вениками – дубовым, березовым и липовым. Дубовый дает крепость коже. Березовый – мягкость мышцам, липовый – гибкость сосудам...

Как настоящий специалист, приглашенный для уникальной операции, он небрежно кинул через плечо кому-то из ассистентов:

– Поддавайте ковшиком помаленьку... Сначала мяту. Потом эвкалипт... Пиво в конце...

На раскаленные камни шлепнулась первая порция воды из медного мерного ковша, свистнул, зашипел пар, и массажист крикнул:

– Давай-давай, часто и по чуть-чуть...

Каменка запыхала, как отправляющийся в рейс паровоз, а в парной начал разливаться студень чистый запах мяты, в нестерпимом жаре стало легко и свежо дышать.

– И-и-и-ах! – выдохнул массажист и быстро-быстро провел несколько раз двумя вениками над поверженным ниц Винокуровым. Горящий смерч промчался по парной, ударил нам в лица, разжал бревенчатые стены, свернулся в палящую плеть, и стон острого наслаждения исторгся, как песня!

И загуляли по красному распаренному телу веники, забились, зашлепали в непостижимо быстром и четко размеренном ритме.

– Тах! Та-та-та! Тах! Тах! Та-та-та! Тах! Тра-та-та-та-та! Тах! Тах!..

Я и не заметил, как исчез, выветрился запах мяты и парную залил невыразимо прекрасный аромат свежего хлеба – это брызнули на каменку разбавленным пивом, и хмель и солод забушевали в нас своим волшебным дразнящим благоуханием.

– Та-та-та! Тах! Тах! Тра-та-та-та!..

Белокурый массажист с лицом сосредоточенным и бессмысленным, как у царского рынды, закончил процедуру на каком-то невероятном фортиссимо, и руки его бессильно опали вдоль мускулистого гибкого тела. Маэстро с блеском завершил сольное выступление, это был настоящий виртуоз разминания утомленных человеческих членов. Я смотрел на него с искренним восхищением: любое яркое профессиональное мастерство вызывает у меня почтение, как у всякого ротозея, чье жизненное призвание – учиться.

Хорошо, что в мире живут люди, которые умеют учить.

Винокуров перевалился в сладкой истоме на правый бок, его туловище было цвета омара. Вообще-то, я омара не только не ел, но и не видел, но, судя по книгам, у этого деликатесного океанского таракана на столе должен был быть такой вот изысканно дорогой пунцовый цвет. А в том, что сам Эдуард Николаевич – деликатесно-барственный, я уже нисколько не сомневался. Его можно было показывать за деньги – прекрасный символ преуспевания и власти над людскими душами.

Он оперся щекой на ладонь, и в этой мускулисто-расслабленной позе нежащегося в термах проконсула была приветливая снисходительность к нам – второстепенным зевакам с нижних полок. Обвел взглядом парную, задержался на мне взглядом на миг и сказал вдруг с радушной улыбкой:

– Борис Васильевич, что же вы сюда, наверх, не поднимаетесь?..

Признаюсь, я сначала оторопел. То, что я легко опознал в бане Винокурова, было довольно естественным – я вдоволь налюбовался фотографиями в кабинете. Но я-то никогда не фотографировался в обществе эстрадных звезд и хоккейных чемпионов! И не очень припоминалось, чтобы мы когда-либо раньше встречались...

Винокуров широко улыбнулся:

– Да не удивляйтесь, Борис Васильевич, мы с вами, к сожалению, раньше действительно не были знакомы. Но мы живем в маленьком городке, а здесь человек спит – молва бежит...

– Ну, не такой уж маленький у нас городок... – заметил я выжидательно.

– А вот в этом вы меня не убедите! – махнул рукой Винокуров и снова лучезарно засмеялся. – Населенный пункт, где меньше миллиона едоков, – не город, а кирпичная деревня...

– У вас непривычная для меня статистика, – сказал я и, завернувшись в раскаленную простыню, сел на ступеньку выше.

– Это естественно, – пожал плечами Винокуров. – У каждого человека, занятого большим делом, свои мерки. Только у лентяев, дураков и демагогов в работе универсальные стандарты, потому что или дела не знают, или знать не хотят...

– Больно круто прихватываете, – решил я возразить. – Мне кажется, что такие стандарты, как трудолюбие, честность, талант, пока еще в любом деле никому не помешали...

Винокуров быстро окунул голову в шайку с ледяной водой и мятой, громко, со вкусом фыркнул, решительно оборвал:

– Это разговор для бедных, это лозунги. Большое дело требует от человека абсолютного знания предмета, решительности разведчика, скрупулезности часовщика и вдохновенной самоотдачи коллекционера. Вот эталонный набор деловых качеств крупного руководителя.

– Понятно, – кивнул я, вытер струями бегущий по лицу пот и подумал, что на скрижалях этого ресторанный пророка охотно расписался бы прокурор Шатохин.

Лично у меня были еще кое-какие соображения насчет свойств и качеств руководителя, но мне выступать с ними было бы довольно странно, ибо во всей обозримой перспективе никто не собирался делать меня даже маленьким начальником. Мое жизненное амплуа – добросовестный исполнитель. Можно утешить себя соображением, что это тоже важная человеческая функция, что без таких людей все эталонные руководители повисают над землей в некотором отрыве от реальной жизни. Но это утешение выглядит не очень-то убедительно, ибо о нем знаю только я. Приди мне в голову нелепая мысль поделиться подобной идеей с Шатохиным, надумай я сказать ему, что без меня он как без рук и висит, бедняга, между небом и землей руководящей жертвой левитации, Шатохин живот бы надорвал от хохота.

– А у вас, Эдуард Николаевич, большое дело? – спросил я простовато.

– У меня? – коротко задумался он, сбросил ловким прыжком с полки свое тренированное тело. – К сожалению, пока среднее...

И обезоруживающе искренне засмеялся:

– Бодливой корове Бог рогов не дает... Пока не дает... В том смысле, что не подросли пока рожки мои... В масштабах города, конечно, наше предприятие одно из ведущих... Но меня провинциальные масштабы не устраивают... Соревноваться не с кем, а мне простор, возможности нужны...

– А чего бы вы хотели?

Винокуров взял меня под руку:

– Прошу на свежий воздух, вам с непривычки в парной сидеть нельзя... Вон кожа пошла мраморными разводами... Это дело тренировки требует. Сейчас в бассейн, делаем купцы-купцы, и передышка... Плавный отдых с прохладительными напитками...

Мы нырнули с бортика в круглый зеленоводный бассейн, и острое ощущение физического счастья в каждой клеточке возвестило мне о том, какое удивительное благо – ненормированный рабочий день, позволяющий эталонному работнику с решительностью разведчика и вдохновенной самоотдачей коллекционера среди бела дня нырнуть из раскаленно-сладкого ада парилки в райские прохладные струи.

Вылезли из воды, и Винокуров сказал:

– Вы уж мне разрешите, Борис Васильевич, быть вашим проводником на этих девяти кругах блаженства... Сейчас кратковременный отдых...

Кто-то из его шестерок распахнул дверь, и мы оказались в помещении, похожем на декорацию оперетты из средневековой жизни: гранитный камин с жарящимся бараном, высокие резные стулья, дубовые панели стен и стол.

Стол! Он показался мне размером с теннисный корт, но вместо бессмысленных линеек поля он был разделен ровными шпалерами бутылок, блюд и приборов. Я такой стол видел только на цветной фотографии в старой книге о вкусной и здоровой пище. Пунцовые мячи помидоров, пупырчатая изумрудность огурцов, лохматая мятая зелень кресс-салата, фиолетовый мрак рейхана, алые и шафранные конусы перцев, вазы пряных корейских солений, хохочущий золотисто-розовый поросенок, треугольные пирожки-самсы, дымящееся блюдо телятины, осетрина под орехами и гранатовыми зернами, поднявшие от восторга лапки копченые куры, холодный нарез мяса всех видов...

Лысоватый розовый человек с приятной улыбкой, будто сам соскочивший со стола, ринулся нам навстречу и взволнованно-радостно доложил:

– Эдуард Николаевич, для вас и вашего гостя стол накрыт...

Винокуров коротко зыркнул на него, будто из дробовика пальнул, а я невинно спросил:

– Так вы, выходит, ждали меня к обеду?

– Радушный хозяин дорогого гостя всегда ждет к обеду, – любезно сообщил Винокуров и добавил: – Вы, Борис Васильевич, забываете о моей профессии – я прирожденный потомственный ресторатор. В ресторане «Замок» мой отец был шеф-поваром, дедушка – буфетчиком, а прадед – половым. Мы все, из поколения в поколение, работаем в ресторане. Мы любим профессию и знаем в ней толк. И настоящий ресторатор всегда смотрит на человека как на своего будущего гостя...

Один из винокуровских добрых молодцов подал нам с хозяином нагретые махровые халаты, я уселся, поджав ноги, на глубокий уютный диван, а Эдуард Николаевич, радушно-гостеприимный, видящий во мне, как во всяком прохожем, будущего гостя, танцующей легкой походкой прошел по залу, включил тычком пальца серебристую коробку магнитофонной «гармошки», и томно звенящий голос какой-то тропической певицы вспугнутой птицей полетел над нами.

Винокуров предложил:

– Прошу за стол, выпьем по рюмке аква-винтэ. – Он засмеялся и показал экспортную водку на винте.

– Я водку не пью, даже если она «винтэ», – сказал я и огляделся в поисках сигарет; вещи остались в общей раздевалке – я же не рассчитывал стать таким высоким гостем.

– После парной и бассейна рюмка водки – первейшее дело, восстанавливает силы действительно как живая вода, – заверил Винокуров и повел бровью в сторону обслуги.

Из небольшого картонного короба вынырнул, как по шучьему велению, блок «Мальборо», с хрустом лопнула обертка, быстрые пальцы массажиста добыли пачку, соскочил целлофан, содрана фольга, ловкий щелчок пальцем в дно пачки – точно одна сигарета вышла наружу, как патрон из обоймы.

Слева возникла на тумбочке пепельница, справа предупредительно чиркнула зажигалка – и первая, самая сладкая затяжка. А когда напился вдосталь синего тягучего ароматного дыма, твердо сообщил:

– Спасибо, я пока повременю. – За стол садиться я не стал, а удобно прилег на своем кожаном глубоком диване. – Так что насчет большого дела? Вы ведь не ответили мне, чего бы хотели...

– О-о-о! – воздел Винокуров руки, прогуливаясь по залу и совершая в темпе музыки гимнастические упражнения. – Я бы хотел многого. Я бы хотел кормить весь город. У меня такое призвание – кормить людей...

В своем длиннополом халате, с воздетыми руками и тоном, полным убежденности и страсти, он походил на трибуна, обещающего народам благоденствие.

– С моей точки зрения, существует три вечные профессии: лечить людей, учить людей, кормить людей. Все остальное нанесено временем и человеческой суетливостью.

Я с интересом спросил:

– Ну и как вам удастся реализовать эту вечную задачу?

Винокуров сделал несколько глубоких приседаний, и воздетые руки опустились, потому что их пришлось скорбно развести.

– С воплощением мечты пока, к сожалению, есть перебои, хотя у меня большие задумки, планы, и я надеюсь, что со временем во всех инстанциях их поймут и меня поддержат...

– А в чем сложности? – спросил я. – В чем вас недопонимают?

– В общей концепции идеи. В частности никаких возражений нет, но очень трудно разъяснить ее конечный социальный смысл.

Он устало рухнул в кресло и сокрушенно помотал головой, скорбя о косности тех, кто мешает ему реализовать свою социально-кулинарную мечту. Его досада была так чистосердечна, что я опечалился от разрыва между философской воспаренностью ресторатора Винокурова и бюрократической ограниченностью разрешающих инстанций.

Затушил в пепельнице окурок и задал ему назревший вопрос:

– А в чем социальный смысл вашей концепции?

И Винокуров рванулся в атаку, как десантник на прорыве:

– По моему глубокому убеждению, надо уничтожить вздорный предрассудок, будто общественное питание – это возможность среди работы набить желудок в столовке или в торжественный день напиться, как дураку, в ресторане. Общепит – это система, которая должна проникать во все элементы, обстоятельства и эпизоды жизни каждого человека... Это доставка еды домой, чтобы облегчить жизнь хозяек...

Я представил себе, что азу, биточки и готовые котлеты преследуют меня не только на работе, но и дома, что вместо обедов моей тещи Валентины Степановны мы все ходим в столовую, и меня объял ужас. Я поднялся с дивана и с мольбой попросил:

– А может быть, начнем осуществлять идею со столовых, кафе и шашлычных?

Винокуров снисходительно махнул рукой:

– Конечно! В первую очередь – недорогое и вкусное рабочее питание. Затем комплекс предприятий типа «бистро», где кормят разнообразно и быстро. Наконец, это возможность устроить прекрасный товарищеский ужин, банкет или гулянку, которая будет тебе по карману...

Винокуров, расхаживая по залу, говорил-пел. Он же сама аудитория. Ему не нужны слушатели – прекрасный тип человека, полностью поглощенного красотой своего собственного повествования.

– Для этого мне нужна целая сеть точек общепита, которую бы я мог контролировать, обеспечивая себя сырьем и отвечая за качество блюд. Нужен бригадный подряд. Нужна комплексная система – от закупки мною барана до продажи горячего чебурека или пирожка...

Видимо, для наглядности замкнутого цикла, для пущей убедительности Винокуров взял с блюда румяный треугольный пирожок, высоко подкинул и очень ловко поймал его зубами, белоснежными и наверняка острыми.

Я подошел к «гармошке», которая в это время истошно завопила – «Глория Гейнорз сонгс», нажал кнопку «стоп». И отвратительно будничным голосом сказал:

– К сожалению, Эдуард Николаевич, высокая миссия вашей замечательной профессии в представлении многих людей снижается регулярным жульничеством отдельных прохвостов. Что же нам делать?

– Никакое большое дело не обходится без потерь и издержек. А такое сытное особенно. Хотя я не сомневаюсь, что это безобразие можно и должно изжить...

Я заплотировал:

– Ах, если бы всем работникам общепита такое высокое понимание вашей задачи и такую твердую уверенность в успехе моей...

Не обращая внимания на мою ухмылку, Винокуров сказал:

– Да-да-да! Со временем так и будет. Избыток продуктов и вкусно приготовленной еды ликвидирует базу для всех жульничеств и махинаций.

– Ах, как я надеюсь на это, – смиренно заметил я. – Помимо гражданского удовлетворения я испытываю корыстный интерес к этому вопросу, поскольку ликвидация хищничества в общепите и торговле сильно облегчит мою производственную жизнь.

Винокуров с огорчением развел руками.

– Ничего не поделаешь, пока об этом говорить не приходится. Как заявил один мудрец, «все люди рождаются подсудимыми, некоторым к концу жизни удается оправдаться...».

Я обратил внимание на забавное обстоятельство: судя по всему, в общепите с дисциплиной и субординацией обстоит лучше, чем в других учреждениях. Во всяком случае, никто из свиты Винокурова, этой боевой гопки очень ловких, разбитных людей, ни разу рта не раскрыл, пока витийствовал их пророк и теоретик. У них, скорее всего, была роль античного хора, который в нужном месте трагедии грянет на всю мощь осанну и благословение нашей возникшей так неожиданно, но крепнувшей на глазах дружбе.

Пока Винокуров не давал им места в спектакле, а мне душевно напомнил:

– Да что мы с вами все о делах да о делах! Пора бы и за стол. А то водка греется, из шампанского живая сила уходит...

Он сел во главе стола, указав мне место напротив. Я же снова угнезвился на своем уже насиженном уютном диванчике:

– Да мы, по-моему, пока еще о делах-то наших маленьких и не говорили. Все больше о глобальных проблемах общепита...

Винокуров горячо воскликнул:

– Больше и серьезнее дел не существует! Да и вообще, как разделить большие государственные и свои личные задачи? Я вот сейчас бьюсь на всех уровнях – пробиваю дело общественное. Предлагаю безвозмездно свою голову, руки, энергию, но пока никто не хочет воспользоваться.

Я заинтересовался:

– А в чем, если не секрет, дело?

– Хочу создать торгово-промышленный комплекс, объединение, ну, под условным названием «Вкусный пирожок». Это будет предприятие, которое само заготавливает продукты, не являющиеся дефицитом: муку, рыбу, овощи. Я хочу печь пирожки десяти видов, со всеми известными фаршами и начинками, и через свои же фирменные точки их продавать, чтобы в любой момент, в любом месте можно было купить десяток самых свежих, хрустящих, золотых пирожков, и цена каждому – пятак, ну гривенник. Потребители будут довольны, а мы получим миллионы.

– «Мы» – это кто? – счел я нужным уточнить.

Винокуров улыбчиво покосился на меня:

– Мы – это государство. А государство – это мы. Только вопрос пока не решается.

– А почему же не решается?

– К сожалению, не все проявляют заинтересованность в деле. Хорошо и так, без пирожков. Приходится доказывать очевидное.

Достаточно внезапно я перебил поток деловой фантазии Винокурова вопросом:

– Скажите, пожалуйста, Эдуард Николаевич, хорошо ли вы знаете Степанова?

Винокуров удивленно воздел бровь:

– Степанова? Какого? А-а-а, убийцу этого? Ну как вам сказать, да, собственно, видел его пару раз... Какие у меня могут быть с ним дела? Говорить всерьез ни разу не приходилось, хотя он обслуживал мое предприятие...

Я присел на низкую скамейку у камина, посмотрел на пляшущее, переливающееся пламя.

– Мне интересно ваше мнение, – сказал я ему. – Мнение житейски умудренного человека с определенным общественным горизонтом и пониманием суммы проблем. Как вы считаете, хороший человек Степанов или плохой?

Винокуров снисходительно засмеялся:

– Я вообще не понимаю этой категории – хорошие люди, плохие люди... С моей точки зрения, нет людей плохих и хороших. А есть люди, которые ко мне хорошо относятся, и есть люди, которые относятся плохо. Что касается Степанова, то, судя по тому, что он учинил, он, должно быть, совсем неважный человек.

– Ясно, – удовлетворился я его разъяснением.

А Винокуров между тем жестами, мимикой, незначительными движениями приводил службу в непрерывное движение вокруг себя.

– Ну что такое, Борис Васильевич?! – взмолился он жалобным тоном. – Быстрее, быстрее, быстрее за стол! Сейчас мы устроим вам сеанс каскадного питания.

– Это еще что такое?

– О-о-о, каскадное питание – это гастрономический рай! Это питание на уровне искусства. Начинаем стол с холодных закусок, трав, зелени, рыбы. Затем нам подают фунчозу – баранину с овощами и тончайшей рисовой лапшой. Потом к нам приходит каурдак – рагу из свежайших потрохов. Затем едим манты – двоюродных братиков пельменей и хинкали. После этого у нас на блюде закричит жалобным голосом шашлык из ягнятины и возвестит приход короля всех блюд – настоящего плова...

Я обреченно склонил голову:

– Один человек это все должен съесть?

– Еще как! В этом и состоит идея каскадного питания, то есть усиление напора каждым следующим блюдом за счет нарастания вкусовой гаммы.

Я встал и спросил его негромко:

– Идею насчет каскадного питания в бане вам протелефонировал Карманов?

Винокуров посмотрел на меня в упор и сказал:

– Ну что ж, вы догадались, откуда я вас знаю. Да, это наш друг Карманов попросил меня поощрить вас за все хлопоты и усилия. Лучший способ показать нашу продукцию в натуре. Итак, шашки в руки, все к бою...

Я завернулся в простыню и сказал:

– Благодарю покорно, Эдуард Николаевич, но, к сожалению, не могу воспользоваться вашим приглашением. Дело в том, что, будучи новичком в банно-помывочных процедурах, я запомнил рекомендацию из передачи «Здоровье»: «Никогда нельзя купаться или париться в бане на полный желудок...» Разрешите сейчас откланяться, и надеюсь встретиться с вами еще раз...

## Глава 10

Настоящая добротная осенняя непогода должна быть скроена из серой ваты низких облаков, простегана мелким дождиком и подбита резким ветром, тогда этот унылый наряд природы начинают мерить гектопаскалями. Как-то неубедительно звучали в устах жены Шатохина гектопаскали, когда она с телевизионного экрана рассказывала нам в чудесные весенне-летние вечера о погоде на завтра. А в эту мокреть и холодрыгу гектопаскали стали естественным элементом жизненной нескладицы, и поскольку ни один мой знакомый не мог пересчитать ока-янные гектопаскали на нормальные, понятные мерки, то мы все стали их воспринимать просто как индекс плохой погоды.

И сегодняшнее утречко накачало бы немало гектопаскалей, кабы их внезапно не отменили с недавних пор. Видать, не только мне, но и Шатохину самому было неудобно пересчитывать эти непонятные единицы погоды – велел их ликвидировать, и теперь его жена, красиво складывая пухлые губы, роняла мне обкатанно-круглые словечки: «...незначительные осадки, северо-восточный умеренный ветер, температура ночью плюс девять – плюс одиннадцать градусов... днем до шестнадцати градусов...»

Мне достались скудные утренние 9–11 градусов, потому что я приехал на автобазу ни свет ни заря, чтобы застать шоферов до разъезда по их путаным городским маршрутам. Мой непромокаемый плащ жадно впитывал не такие уж незначительные осадки, а умеренный северо-восточный ветер пихал меня в спину, как коленом, когда я суетливой пробежкой паркинсоника пересекал бесконечный пустырь от автобусной остановки до ворот автобазы.

Неслыханным комфортом и уютом пахнула на меня поэтому контора с проникающим всюду запахом бензина, старой резины, металла. Ощущение машинного масла на руках оставлял разговор с начальником эксплуатации Мандрыкиным – все было скользко-жирно, текуче, несъедобно.

– Степанов? Александр? Из первой колонны? Знаю... – говорил он медленно, задумчиво, не поднимая на меня глаз, перебирая на столе бумажки.

– Он не из первой, а из второй колонны, – заметил я. – Но это не важно. Что вы можете сказать о нем?

– Это так трудно сказать, – доверительно сообщил он. – Взысканий не имеет.

– А поощрений? – спросил я, разглядывая его мясистое лицо с незапоминающимися, расплывчатыми чертами.

– А за что его поощрять? – удивился Мандрыкин.

– Ну, вам, наверное, виднее, есть за что Степанова поощрять или наказывать! – сказал я и подумал, что его рыжевато-бесцветный зачес похож на небрежно склеенную накладку. – Я спрашиваю вас: Степанов – хороший работник?

– Ударником его, конечно, не назовешь! – убежденно сообщил Мандрыкин, переложил в пачке бумаги сверху вниз и добавил: – Но вроде ничего плохого я не замечал за ним...

– Он план выполняет? – Я стал потихоньку терять терпение. – В общественной жизни участвует? Может, пьянствует?

– Да, конечно!

– Что «конечно»? Пьет?

– Нет! Не пьет. То есть, может быть, пьет, но на работе не замечал...

– А что же «конечно»?

– В том смысле, что план выполняет... – Он снова достал бумажки, положил сверху стопы и, мазнув по мне прозрачным взглядом блеклых серо-зеленых глаз, сказал: – Но, конечно, при этом не всегда...

У Мандрыкина была недостоверная голова, будто восстановленная антропологом Герасимовым по найденному черепу. И мыслил он очень неуверенно, крайне осторожно.

– В общественной жизни Степанов, можно сказать, не участвует... В том смысле, что если выступит на собрании, то одна демагогия и болтовня... Дешевый авторитет себе создает...

– А в чем это выражается?

– Ну, так-то просто не объяснишь... Это у него всегда: он один в ногу шагает, а вся рота не в ногу. – И осуждающе закачал своей рукотворной головой.

– Можете привести конкретный пример? – Я встал и походил по кабинету, чтобы не задремать в этой увлекательной беседе.

– Ну, трудно сказать конкретно... – развел он свои веснушчатые пухлые ладони. – А так, вообще-то, всегда... – И убежденно заверил: – Во всем... Вот сейчас придет водитель Плахотин, они лучше друг друга знают, все ж таки свой брат шофер, может, он чего скажет...

Не выдержав, я спросил:

– Вам никогда не доводилось ловить в бане упавший на пол кусок мыла? Доводилось? Это вроде разговора с вами! Я задаю вам конкретные простые вопросы и не могу получить ни одного ясного ответа!

– А чего? Я готов! – И бумаги на столе стали перемещаться с удвоенной скоростью.

Я закурил сигарету, подошел к окну, распахнул форточку, и в кабинет навстречу синему сигаретному дымку рванулся натужный рев прогреваемых на стоянке дизелей.

– Вы мне сообщили, что у Степанова взысканий нет. А в изъятом личном деле Степанова есть строгий выговор с предупреждением об увольнении. Так?

Как дрожжевая опара, пошел начальник эксплуатации вверх:

– Но ведь отменили потом...

– Правильно. Интересно же знать: почему выговор объявили, почему через месяц сняли?! – заорал я, чтобы хоть на форсаже чуток раскачать его.

– А как же с ним поступить прикажете? Шофер зарядил «левую» езду! Без путевого листа, без разрешения укатил на весь день, полторы сотни километров накрутил! Это же документально подтверждено!..

– Понял. За это выговор. А сняли почему?

– Потому что он у нас сутяга, всегда в выигрыше, он по комиссиям, по райкомам затаскает! А у нас дела! План! Нехватка запчастей! Режим экономии горюче-смазочных материалов! Черт с ним! Ходил месяц, жаловался, нам тут покоя нет – всем комиссиям ответ держать. Ну и решили – пусть подавится, отменили выговор. Что мне, больше всех надо? – И обессиленно откинулся на жестком кресле, утирая пологий свод черепа, плавно переходящий из затылка через неширокий лоб в неприметную бульбочку носа без переносицы.

– А у вас можно выехать с базы без путевого листа? – поинтересовался я на всякий случай.

– Вообще-то, конечно, нельзя. Но за всеми не усмотришь: кто с диспетчерами договаривается, кто вахтерам денежку дает...

Дверь приоткрылась, и в щель проник нос. Нос толстый, длинный, чуть скривившийся к концу на левую сторону, туда, где я стоял. Затем нос втянул за собой в кабинет крепко сбитого, ладно свинченного, ловкого человека. На простодушном, открытом лице жила губастая веселая улыбка, свидетельствующая о постоянной гармонии между носом и всем остальным придаточным анатомическим аппаратом, который был, совершенно очевидно, сотворен для обслуживания возникающих у носа жизненных потреб.

– Здравсте, меня диспетчерша разыскала, велела прийти...

– Вот следовательно из прокуратуры интересуется тобой, Плахотин, – сказал Мандрыкин. – Наворотили вы с твоим дружкой Степановым делов, покрутитесь теперь!..

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.